

И вот однажды ученики шестого класса «А» были несколько озадачены началом урока. Вместо того чтобы прииться за обычное скучное объяснение, я, ни слова не говоря, росчерком мела разделил доску на две части. На одной стороне написал громадное «А», на другой вывел «О», по размерам не уступающее велосипедному колесу. И даже вялый, ко всему равнодушный Лени Бабин поднял свои сонные веки, склонив стриженную голову на плечо, раскрыв рот, уставился на доску. А я с самым невозмутимым видом уселся за стол, произнес:

— Сережа Скворцов, выйди к доске.

В тесной форменной гимнастерке, надо лбом торчит белобрысый вихор коровьего зализа, Сережа, всеми признанный отличник, неуверенно вылез из-за парты. На его подвижной остроносой физиономии можно прочесть целую гамму переживаний: любопытство — что все это значит, настороженность — нет ли со стороны учителя какого подвоха, затаенное самодовольство — вызывают-то его, лучшего ученика, — значит, сложное дело.

— Напиши, Сережа, внизу под буквой «А» такие слова: *издавна, издалека, досуха, докрасна, слева, сначала...*

Застучал мел. Напряженно склонив тонкую шею с трогательной косицей волос в ложбинке, Сережа торопливо выводит слова.

— А сейчас внизу под «О» — *вправо, влево, напосуд, набело, насухо...*

Сережа пишет, а класс молча ждет. Федя Кочкин, окаменевший в тоскливой неподвижности в те минуты уроков русского языка, пока не приходилось самому браться за ручку, сейчас навалился грудью на парту, сдержанно поблескивает глазами.

Слова написаны, Сережа вопросительно повернулся ко мне: что дальше?

— Теперь все присмотритесь к словам и скажите, почему одни слова написаны под буквой «А», другие под буквой «О»?

Класс смотрит на доску, класс молчит. Мне даже кажется, что я слышу, как вразнобой дышат эти тридцать с лишним человек. Широкое, веснушчатое, с суровой сосредоточенностью лицо Сони Юрченко, наивно недоуменное — Гали Субботиной, выжидающее — Паши Аникина, осоловело помаргивающее ресницами — Лени Бабина. Все решают несложную задачу. Если мне просто, без обиняков сказать — потому-то и потому-то, то ученикам ничего не останется, как только поверить на слово и постараться

запомнить. Но если своими усилиями открыть загадку, то после не нужно убеждать: что, как, почему. Проявляется активность, приложены пусть небольшие, но свои усилия, знания сразу становятся как бы своей собственностью.

А в конце урока диктант, похожий на игру. Я читаю маленько описание утра в горах: «Слева поднимаются темные скалы, кажется, они нагло закрывают путь бешеною речушке...» Я читаю довольно быстро, а каждый должен записывать только наречия с окончанием на *о* и *а*. Будь начеку, не пропусти, не ошибись, не впиши не подходящее слово только потому, что на конце его стоит *о*; из десятка слов, как крупицу золотоносного песка, выуди драгоценное наречие.

Я сам увлекся, звонок застал меня врасплох. Ученики поднимались со своих мест с оживленными лицами, перекидывались вопросами:

- У меня десять слов. У тебя сколько?
- Я сначала в *соследу* «*а*» в конце написал...
- А как писать — *с маxу* или *с маха*?

Началась перемена, а ребята еще продолжали жить уроком.

Всю эту десятиминутную перемену я ходил по учительской, поспешно затягивая папирою. Точно такой же урок я должен провести сейчас в другом шестом классе, зуд нетерпения охватил меня.

Именно во время этой перемены я впервые почувствовал, что есть, оказывается, особое наслаждение в том, что ты сообщаешь новость. Пусть эта новость будет всего-навсего правилом правописания наречий, лишь бы она вызывала интерес. Поделиться любопытной новостью — все равно что поделиться маленькой радостью. Разве не радость чем-то обогатить человека?

Весь день после этих уроков я испытывал праздничное настроение. То, что я сделал сегодня, не открытие неизвестного, не новый шаг в педагогике, нет, этим приемом давно-давно пользуются учителя, он даже имеет ученое название — *эвристический прием*. Я по своему невежеству раньше не знал о нем, теперь воспользовался чужой находкой, и все-таки у меня маленькая, никем не замеченная победа. Для моих учеников сегодня случайно выдался нескучный урок; они, наверное, не надеются, что все уроки станут такими же. Я тоже не слишком обольщаю себя надеждами. Даже в живописи у меня случались удачи. Помню портрет девушки в бирюзовом платье, помню

похвалу профессора: «В вас черт сидит, Бирюков!» Но я помню и катастрофу после этой похвалы. Не следует излишне радоваться, но и опускать руки не стоит: «Не боги горшки обжигают». Сделал маленькое дело, завтра попробуем сделать что-то более значительное.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

12

Без особых событий прошел год.

Сережа Скворцов, Соня Юрченко, Федя Кочкин, Паша Аникин перешли из шестого класса в седьмой. Удалось перетащить сквозь весенние экзамены и осенние переэкзаменовки даже Леню Бабина. Я их классный руководитель. Наступила шестая зима моей работы в Загарьевской десятилетке.

Проводил уроки, среди учителей в учительской поддерживал разговоры об успеваемости, о погоде, о новой кинокартине, гулял, обедал, обсуждал с женой хозяйственныe заботы, а в то же время где-то между этими будничными делами не переставал обдумывать свое сокровенное.

Если б посторонний человек смог проникнуть в это сокровенное, он, наверное, с недоумением бы пожал плечами: экая скука, обсасывает материал о каких-то там второстепенных членах предложения! Профессиональное помешательство, не иначе.

Смутные мысли, догадки, соображения, копившиеся в течение дня, я собирал для вечера. А вечером садился за стол, зажигал лампу, и тут начиналась работа, которую я не могу назвать другим словом, как лабораторная. Вытаскивались справочники, книги, учебники, детские сочинения, старые записи, начиналось сопоставление, сравнение — начинались поиски. Смутные догадки приобретали какую-то зримость, соображения превращались в строго рассчитанные планы будущих уроков. Настольная лампа под абажуром из вылиньявшего голубого шелка освещала заваленный книгами и бумагами стол, в щербатом блюдце, служившем мне пепельницей, росла куча окурков, за черным запотевшим окном, небрежно задернутым занавеской, слышался смех девчят, возвращающихся с танцульки из Дома культуры, приглушенный лай собак, грохотание грузовика, поторапливаемого спешащим к ноч-

легу шофером. А я наедине с собой сочиняю самую увлекательную повесть — повесть о том, как мне прожить свое завтра.

Момент, когда я переступил порог пединститута (случайно переступил!), не сделал меня педагогом. Не стал им я после пяти лет учебы в институте. Больше четырех лет я преподавал детям, называл себя учителем, писал в анкетах *педагог*, думал, что я люблю свою профессию, но нет, я не был еще настоящим педагогом. Я теперь начинаю постепенно становиться им.

У меня появился свой стиль, своя манера в работе. Я и класс — две стороны в разговоре. Темой такого разговора могут быть и причастия, и характеристика Троекурова из повести Пушкина «Дубровский», все что угодно. Я запевала, я собеседник, я направляю разговор... Вопрос за вопросом, от простых к более сложным. Подталкиваю на догадки, заставляю соображать, расширяю эти догадки, углубляю размышления, и незаметно класс приобретает новые знания.

Прежде я не чувствовал себя одиноким: знакомых — полсела, почти со всеми учителями в приятельских отношениях, с Тоней жил в добром согласии, как и полагается хорошему семьянину. Но в последнее время я все сильней и сильней стал ощущать: не хватает друга. С кем поделиться? Иван Поликарпович может лишь снисходительно выслушать, похвалить, посетовать, что время его прошло. Мне у него учиться нечему, а ему у меня поздновато, да и, пожалуй, зазорно. Не получалось разговора и с Олегом Владимировичем. Он слишком был уверен в том, что работает как надо. Единственно, кто мог бы стать моим товарищем, был Василий Тихонович. Но он держал себя заносчиво, а я не привык набиваться на дружбу.

Казалось, кому еще интересоваться моей работой, как не Тоне? Она — самый близкий мне человек, она тоже преподает в школе. Но, может быть, сказывалось влияние Акиндина Акиндиновича или же натура выросшей в крестьянской семье девчонки давала себя знать, так или иначе Тоня была слишком увлечена бесконечными заботами об устройстве нашего маленького хозяйства. Должен быть запас дров во дворе, погреб набит картошкой, в сарае ухоженный поросенок, в комнатах чистота — тут Тоня и энергична и осмотрительна, по-своему умна и даже талантлива. Возле Тони удобно жить, но как требовать интереса к моим делам, когда она и свои-то школьные обязанности выполняет в промежутках между хлопотами по дому. При-

сядет над книгами, перебросает из одной стопки в другую тетрадки и снова сорвется на кухню или во двор.

Я учитель, мое призвание учить, передавать то, что знаю, а тут я не могу высказать, чем живу, что волнует... Ни высказать, ни посоветоваться, ни спорить.

Апрель 1941 13

До сих пор завуч Тамара Константиновна была довольна мною. Но вот я стал преподносить ей вместо обычных планов те записи, над которыми трудился по вечерам,— каждый раз несколько страниц, убористо исписанных вдоль и поперек, со сносками, со вставками, с ссылками на те книги, какие не читала и не собиралась читать Тамара Константиновна. Она листала мои тетради, морщила свой белый, по-девичьи гладкий лоб, спрашивала:

- Это что же такое?
- То, что вы требуете,— план урока.
- Одного?
- Одного урока.

Тамара Константиновна снова вглядывалась в мои тетради, снова морщила лоб.

— Гм... Дурную манеру Горбылева переняли. Нельзя ли как-нибудь попроще составлять планы?

- Проще не получается.

— Мудрите, Андрей Васильевич. В прошлом году вы всегда отличались аккуратностью, я вас постоянно ставила в пример. Мудрите...

Она перестала ставить меня в пример.

Я уже не обращал внимания на внушительное слово *показатели*, но меня вызвал для конфиденциального разговора Степан Артемович.

Он сидел за своим директорским столом, маленький, прямой, в меховой душегрейке (чтобы не продувало от окна спину), на лице знакомая непроницаемость, костлявый кулачок лежит на моих тетрадях, которые передала ему Тамара Константиновна.

— Андрей Васильевич,— начал он, как всегда, тихим голосом, заставляющим уважительно вслушиваться в каждое слово,— я ознакомился с тем, как вы готовитесь к урокам. Похвально... Да, похвально, что вы стараетесь оживить свое преподавание. Но... Вы хмуритесь, вы не ожидали этого *но*?.. Так вот, *но*, уважаемый Андрей Васильевич, чрезмерное оригинальничанье в преподавании может дать

нежелательные результаты. Я старый педагог и, поверьте, знаю, что часто в угоду живости и образности при обучении приходится поступаться обычными трудностями. А учеба, как бы вы ни старались ее разукрасить, была, есть и останется не чем иным, как трудом, причем не легким трудом. Те, кто говорят, что знания — сладкий плод, благородно лгут. Знания — горький корень. Подслащайте этот корень сколько вам угодно, старайтесь вести уроки по возможности живо, но не в ущерб знаниям, не пугайтесь, что детям будет трудно.

— Стараюсь преподносить те же знания, но иными путями, более доходчивыми. Это ничего не имеет общего с подслащением горького корня, — возразил я.

Степан Артемович выдвинул ящик стола, вынул оттуда бумагу, по-стариковски отвел ее от глаз на вытянутую руку:

— Судя по отметкам, успеваемость по вашим предметам несколько снизилась. Это не тревожит вас?

— Я теперь подхожу к ученикам с более высокими требованиями.

— Вы знаете, что я всегда был сторонником требовательности. Ваша прежняя требовательность меня удовлетворяла. А сейчас... сейчас я, глядя на отметки, выставленные вашей рукой, начинаю терять ориентировку: верить ли вам на слово, что вы не подведете школу, или же сомневаться?

— Я могу уверить вас только в одном, что теперь даю знания глубже, шире, разностороннее, чем давал до сих пор. Посетите мои уроки, может, они убедят вас.

И Степан Артемович поднялся со стула:

— На уроках у вас непременно побываю. Впрочем, по этим записям, — он похлопал ладонью по моим тетрадям, — я уже представляю ваши уроки. До поры до времени я постараюсь во всем добросовестно верить вам. До поры до времени... Точнее — до экзаменов. Они покажут... — Он протянул мне свою сухую руку.

Меня встревожил этот разговор: экзамены покажут... Правда, до экзаменов еще очень далеко, началась только вторая четверть, впереди вся зима, весна. Сколько воды еще утечет до середины мая! Но я знаю Степана Артемовича, он никогда и ничего не забывает. Так ли уж уверен я в своих учениках? Уверен! Но мало ли что может случиться! Бросил вызов Степану Артемовичу, — значит, учти, вай теперь все до последней мелочи.

Я по-прежнему засиживался по вечерам за полночь,

только стал более придирчив к мелочам, больше задавал на дом, оставлял после уроков. Впрочем, этим в стенах нашей школы никого не удивишь.

Акиндин Акиндинович Поярков, мой сосед по дому,— добрейший от природы человек. Но что делать, если его уроки географии скучны, а Степан Артемович и Тамара Константиновна требуют высокой успеваемости, постоянно напоминают о том, что наша школа одна из лучших в области, что нужно дорожить ее честью? И добрейший Акиндин Акиндинович становится безжалостным: он старается задавать побольше на дом, строже спрашивая, того, кто не сумел выучить, оставляет после уроков. Уж этого нерадивого, не жалея ни труда, ни времени, Акиндин Акиндинович прощупывает со всех сторон, заставит выполнить задание, задаст дополнительно. Не хотел быть добросовестным, получай — шесть часов в школе, два часа после того, как остальные отправятся по домам, да не забудь выполнить и то, что задано на следующий день, если не хочешь снова и снова оставаться под особым наблюдением.

Почему я должен отставать от Акиндина Акиндиновича, выслушивать за это нарекания директора?

В седьмом классе «А», где я был классным руководителем, училась Аня Ващенкова. Как все болезненные и не по возрасту высокие девочки, она была застенчива. Чувствовалось, что постоянно помнит о своей долговязости, об остроте локтей, о худобе ног — ходит сутуясь, на переменах держится подальше от шумной возни.

В прошлом году Аня тяжело переболела ревмокардиом, пропустила несколько месяцев, была переведена без экзаменов, весь сентябрь, начало учебы, провела с матерью на курорте.

Этого уже достаточно, чтобы оказаться под железным законом Загарьевской десятилетки: послеурочные занятия, домашние задания и еще раз домашние задания. Кроме того, она дочь секретаря райкома партии. Степан Артемович щепетилен в вопросах чести: ее отец обязан чувствовать, что район, которым он руководит, по праву гордится своей десятилеткой. Разумеется, никаких поблажек. Только трудом Аня Ващенкова обязана занять место среди успевающих учеников.

На Аню набросились учителя. Она уже начала получать четверки и пятерки. Все шло хорошо, и вдруг...

Это случилось на моих дополнительных занятиях. Аня, сидевшая на первой парте, записывавшая под мою дик-

товку упражнения, уронила ручку, выпрямилась и схватилась за грудь. Лицо ее посерело, глаза выкатились, открытый рот с усилием хватал воздух. Прозвенел тоненький жалобный стон, прозвенел и оборвался...

Я бросился к ней:

— Что с тобой?

Она мяла кофточку на груди, глядела страдающими глазами...

Срочно вызвали по телефону врача. Через час Аню унесли из школы домой на носилках.

14

На другой день к Степану Артемовичу пришла мать Ани. Я совершенно случайно появился у директора, когда разговор был уже в разгаре. Степан Артемович за своим большим темным старинным столом был, как всегда, непроницаемо спокоен, только вздернутая вверх правая бровь выдавала сдерживаемое раздражение.

Мать Ани, в белом пуховом платке, оттенявшем свежее, очень миловидное лицо, стояла перед директором выпрямившись, говорила чистым, звонким, с нотками негодования голосом:

— Я на протяжении полугода следила за тем, как вы учите детей. Нравится вам или нет, а выслушайте мое мнение. Не говоря уже о том, что вы требуете от учеников каторжной трудоспособности, у вас учеба заслоняет для детей всю жизнь, всю без остатка!..

— Надеюсь, вы не возражаете, что главное в жизни детей школьного возраста — это учеба, почти так же, как главное в жизни новорожденного — сосать грудь матери, прибавлять в весе и чувствовать себя здоровым.

— Но ведь вы же сами своей учебой уничтожаете любовь к учению. Учеба с надрывом сил, учеба, притупляющая все интересы! Если пользоваться вашими же сравнениями, то вы напоминаете ту мать, которая в своей чрезмерной любвеобильности перекармливает младенца, портит его пищеварение, вместо здоровья награждает опасными недугами.

Бровь Степана Артемовича упала, глаза сумрачно уставились на молодую женщину.

— Сколько вам лет, простите за нескромный вопрос? — спросил он.

— Лет? При чем тут мой возраст? Но раз это вас ин-

тересует, могу удовлетворить любопытство: тридцать четыре.

— А мне пятьдесят девять, уважаемая... э-э... Валентина Павловна. Из этих пятидесяти девяти я тридцать пять работаю в школе. Я начал заниматься воспитанием детей, когда вы еще не появились на свет. Через ваши руки прошел всего-навсего один ребенок, через мои — затрудняюсь подсчитать — что-то порядка нескольких тысяч. Так вот, уважаемая... э-э... Валентина Павловна, разрешите мне в моем деле доверяться своему, да, своему, а не вашему опыту.

Степан Артемович поднялся, маленький, с коротко подстриженной седой головой, с утомленным, непроницаемым лицом.

Щеки женщины вспыхнули, она торопливо принялась натягивать перчатки, с еще большей дерзостью ответила:

— Мне кажется, тридцать пять лет назад вы, к сожалению, сделали первый шаг не по той дороге. Разумеется, вам после такого долгого пути трудно сворачивать куда-то в сторону, искать новый путь.

— Не тот путь? — Степан Артемович выпрямился, его лицо залила желтизна, жесткие морщины проступили отчетливее, сдерживаемый давно гнев прорвался наружу. — Мой путь неправильный?.. Потрудитесь оглянуться, товарищ Ващенкова! Потрудитесь взглянуть на эти стены...

Кабинет Степана Артемовича был своего рода школьным музеем, хранилищем реликвий Загарьевской десятилетки. На стенах висели фотографии, письма в застекленных рамках, обширная карта Советского Союза.

— Взгляните сюда! Видите эту фотографию? Не кажется ли вам, что у этого молодого человека честное, открытое, волевое лицо? Это Петя Добрынин, мой ученик, Герой Советского Союза. Убит под Курском... А этот подполковник, ныне здравствующий... Взгляните на его ордена. Я думаю, что они приросли к его груди не так просто, как прирастает иней к вашей шубке. Это тоже мой ученик — Вася Сиволапов. Нет, нет, выглядите, глядите внимательней! Вот еще скромный портрет — Толя Зубцов, химик-экспериментатор, профессор, лауреат, он тоже учился в нашей школе, под моим наблюдением. Не затруднит ли вас погнуться и прочитать это письмо? Его написал некий Костя Шорохов, ныне инженер-горняк. Прочитайте все благодарности, которые он здесь написал, прочитайте о том, как он

отзывается о вашем непочтительном собеседнике. Он, по всей вероятности, другого мнения о моем пути. А карта?.. Вы видите на ней красные точки? Вы видите, что они разбросаны по всей стране от Черного моря до Чукотки. Киев — это Сережка Горшенин, Чита — Женя Курдюкова. Это еще не все ученики, а только те, с которыми удалось связаться. А сколько потерявшихся из нашего поля зрения?.. Полюбуйтесь на моих учеников, разбросанных по разным концам земли,— врачей, педагогов, строителей, изыскателей! Учтите: они работают, не бездельничают, приносят народу пользу. Видите, сколько их! Вот мой путь! Если вы его называете не тем, каким должен быть путь честного человека, то уж, простите, я другого пути себе представить не могу.

Я наблюдал за Вашенковой со стороны. Она сосредоточенно из-под платка разглядывала фотографии, пожелтевшие от времени письма, карту, потом перевела взгляд на Степана Артемовича и произнесла с прежней дерзостью:

— А не могло ли случиться так, что все эти ученики вышли в люди вопреки вашему желанию?

— То есть?..

— То есть из тех тысяч детей, что кончили школу, наверняка несколько десятков окажутся с особым складом характера, которых не задушишь никаким насилием. Кого-то наверняка поправила сама жизнь. А если полюбопытствовать: сколько из вашей школы вышло тех, кто проклинает свою скучную работу, несет на горбу унылую судьбу, заполненную лишь мелкой заботой о существовании? Даже из тех, кто отмечен на карте. Все это,— Вашенкова обвела перчаткой стену,— вызывает уважение, но легче всего выкопать единичные примеры, вывесить их на всеобщее обозрение и умиляться от всей души.

Ее дерзость обидела и меня. Не имеет права так говорить! Я, может быть, сам не во всем согласен со Степаном Артемовичем. Но я не осмеливаюсь упрекать этого человека, всю жизнь отдавшего школе. А я днями и ночами думаю о том, как лучше учить ребят, меня-то беспокоит их судьба. Судить со стороны, бросать упреки! Эти упреки не пережиты, не выстраданы; перешагнув за порог кабинета, она забудет их с легким сердцем.

Я ждал, что Степан Артемович обрушит на нее всю силу своего негодования, со свойственной ему жестокостью осадит эту фатоватую бездельницу. Но Степан Артемович поступил умнее. Он просто не стал спорить, сказал с уничтожающей вежливостью:

— Я очень сожалею, товарищ Ващенкова, о том печальном событии, которое произошло в стенах нашей школы с вашей дочерью. Примите, если сможете, мое глубокое сочувствие, и давайте кончим наш разговор. До свидания.

Со стариковской церемонностью Степан Артемович склонил голову. Ващенкова несколько опешила, потом ответила ему таким же холодным кивком, с надменным видом вышла из кабинета.

Степан Артемович сел за стол лицом к стенам, увешанным реликвиями, так наглядно доказывавшими заслуги школы, которой он руководит много лет.

— Андрей Васильевич,— обратился он ко мне,— вам, как классному руководителю, ни в коей мере нельзя забывать Аню Ващенкову. Ходите на дом, справляйтесь о здоровье, советуйтесь с врачами. Как только врачи найдут, что ей можно понемногу заниматься в постели, организуйте занятия на дому. Будет нужно — привлеките учителей. Хотите или нет, а вам придется наладить контакт с этой критически настроенной дамочкой.

Разговор нашего директора с женой секретаря райкома стал скоро известен всем учителям. Грешным делом, я, как свидетель, не без удовольствия освещал его подробности. Все были на стороне Степана Артемовича, сожалеющие посмеивались над Ващенковой: тоже схватился «черт» с «младенцем»! Кто-кто, а наш Степан Артемович не таких осаживал, в областном отделе побаиваются ему сказать поперек слова.

Один только Горбылев, щуря цыганские глаза, говорил:

— Девчонку-то замордовали. Мы признаем только два пути к науке: или через чахотку, или через мозоли на заднем месте. Других нет.

Наверняка эти слова дошли до Степана Артемовича (все, что ни говорилось в учительской, в самый короткий срок просачивалось в кабинет директора). Но Степан Артемович даже не удостоил Горбылева словесным замечанием.

Я бы и сам по долгу учителя навестил свою больную ученицу, но был еще дан и наказ от Степана Артемовича — не оставлять без внимания. И я, сменив свой потертый пиджак, в каком обычно появлялся в школе, на более

нарядный, придав своему лицу выражение официального соболезнования, направился к дому Ващенковых. «Дамочка», наверное, не весь свой запал истратила на Степана Артемовича. Надо полагать, что она возобновит нападение, придется держаться с ней вежливо, корректно, не роняя достоинства и в то же время осмотрительно.

Не одно поколение загарьевских секретарей райкома прожило в небольшом домике, отделенном от пыльной центральной улицы толщей сосен районного парка. Ващенков, появившийся в Загарье года три тому назад, отказался от этого обжитого семьями предыдущих секретарей уютного уголка (там разместили детские ясли) и поселился в большом двухэтажном доме, где квартировали служащие, начиная от кассира сберкассы старика Мурогина, кончая заведующей рено Коковиной, нашей всеобщей школьной начальницей. Дом этот выходил своими казенными широкими окнами прямо на булькую улицу, большой двор сбоку у дома был забаррикадирован разнокалиберными поленницами, средь которых с утра до вечера кричали дети.

Широкая и, как следовало ожидать для такого многолюдного дома, не слишком чистая лестница привела меня к двери, обитой новым дерматином.

— Да-да, войдите.

В тесной прихожей, где одна стена отягощена висящими шубами и пальто, на узком деревянном диванчике лежит ворох чистого белья, еще ломкого, угловатого, распространяющего вкусный морозный запах. Хозяйка тоже только что с улицы, круглое лицо разрумянено, на волосы наброшен платок, на ногах валенки, невысокая, в меру плотная, с легким намеком на полноту, да при этом еще запах выстиранного белья,— так и просится на язык простодушное слово *молодуха*, вот-вот кажется, засовестится, по-деревенски прикроет рот концом платка, опустит веки. Совсем не похожа на ту франтоватую, что дерзко стояла перед Степаном Артемовичем в его кабинете.

Но только секунду держалось это обманчивое впечатление. Легким движением она сбросила платок на плечи, свободный, уверенный поворот головы, спокойный взгляд серых в синеву глаз — нет места простодушию, передо мной человек, сознающий свое достоинство.

— Здравствуйте, Андрей Васильевич.— И голос ее, чистый, с надменным холодком воспитанной женщины, указывает мне, нежданному гостю, в каких рамках следует держать себя, как разговаривать.

Мы до сих пор были знакомы как мать одной из самых нешумливых учениц в классе и классный руководитель. Встречались большей частью на родительских собраниях, домой к ней я пришел впервые.

— Прошу извинить. Хочу узнать, как здоровье Ани.
— По-прежнему.

Мы помолчали, и я почувствовал тягостную неловкость. Пришел навестить больную ученицу, а так ли уже рада она будет со мной встретиться? Никогда Аня не испытывала ко мне привязанности, я же видел в ней только отстающую, которую любым путем нужно подогнать под уровень всего класса. Аня устала от меня, а я сейчас должен изображать озабоченность и беспокойство, играть роль заботливого учителя.

— Если разрешите, я хотел бы поговорить с Аней.
— Что ж... Пожалуйста.

Сняв пальто, потирая застывшие руки, я шагнул следом за ней в комнату. У нее была решительная, несколько нервная походка, грудью вперед.

Над круглым обеденным столом висел большой желтый абажур, по стенам книжные полки, второй стол — письменный — приткнут к окну. На стене рядом с книгами — картина в простой черной раме. И я задержался перед нею. Ничего особенного: поросшая тощим ельничком низинка в бугристых кочках, сырой массив хвойного леса на заднем плане, приглушенный влажной толщей воздуха, и безотрадное, серое, низкое небо. Я задержался, потому что эта картина чем-то напоминала мой козий выпас. Только, не в пример мне, талантливая рука перенесла на холст и это небо, и расквашенные кочки, и тесные семейки жалких елочек. Ни смелых щегольских мазков, ни подчеркнутой небрежности, которая всегда нравится в работах художников, лишь старательно передана знакомая мне прадедовская грусть.

Я задержался только на секунду, под испытующим взглядом обернувшейся хозяйки прошел в следующую комнату.

От недавно побеленных стен маленькая комнатка казалась ослепительно светлой. Первое, что мне бросилось в глаза, не сама больная — рядом с куклой в кудельных кудряшках стоял на столике у кровати микроскоп. Не игрушка, самый настоящий микроскоп на тяжелой подставке с двумя, как тупые рожки, торчащими объективаами — дорогая и редкая по нашим местам вещь, лучше тех, что хранятся в шкафах нашей школы.

На меня смотрели глаза девочки, никогда было оглядываться по сторонам.

Аня, похудевшая, более взрослая, чем та, которую я каждый день видел в своем классе, застенчиво зарылась подбородком в одеяло.

— Здравствуй,— сказал я, опускаясь на стул.— Как себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Не скучаешь по школе?

— Нет.

— Вот как...

С обострившегося лица внимательно уставились на меня серые, как у матери, глаза. В их взгляде было что-то покойное, тихое, углубленное, довольноное. Когда я говорил о школе (о чём я с ней еще мог говорить?), ее прямой взгляд становился каким-то пустым. Нет, она не скучает по школе. Да, ей хорошо одной. Она теперь выполняла не особенно приятную для нее обязанность — принимала своего учителя. Я потревожил ее покой, но ведь я скоро уйду, оставлю ее снова одну среди белых стен, широкого окна, куклы на столике и солидного микроскопа. Она отдыхает от школы.

Я поднялся со стула смущенный.

Снова прошел мимо картины, бросив напоследок косой взгляд. Мать Ани провожала меня.

Пока натягивал на себя пальто, она молча стояла передо мной, придерживая рукой у подбородка кофту. У нее было полнощекое лицо со свежей, прозрачной кожей, с маленьким подбородком, украшенным милой ямочкой, от светлых волос, чуть намеченных бровей до розовых губ — все в ясных, мягких, блеклых тонах, присущих только блондинкам. И с такого лица, чем-то напоминающего лица фарфоровых кукол, глядели большие серые глаза, напряженные, вопрошающие, смущающие своей прямотой и серьезностью. Испытав на себе такой взгляд, сразу же начинаешь замечать и духовную подвижность в чертах, и твердый рисунок рта, и своеенравие в подбородке с кокетливой ямкой.

От равнодушия или от умственной лени мы часто торопимся с оценкой встретившегося на пути человека, с маxу накладываем на него готовую печать: простоват, добродушен, глуп, легкомыслен, рубаха-парень... Одна черта, одно слово, и мы спокойны: оценка дана, человек ясен, на этом и надо строить свое отношение к нему.

Полчаса назад эта женщина не представляла для ме-

ия загадки: жена при руководящем муже, бездельница, нечто противоположное мне самому, зарабатывающему хлеб насущный честным трудом. Ждал бесцеремонных упреков, а их нет. А картина на стене?.. Случайно ли она висит? Быть может, эти кочки и ели под серым небом так же волнуют ее, как и меня? А микроскоп возле кровати дочери? Как его объяснить?.. Нет, не понятно, не могу судить.

Я уже застегнул пальто, собирался раскланяться, как Валентина Павловна спросила:

— Скажите, через сколько минут вы забудете такое посещение больной ученицы?

Я, кажется, довольно тупо глядел на нее с высоты своего роста.

— Почему вы так спрашиваете?

— Потому, что в вашем поступке проглядывает физиономия вашей школы. Простите за вульгарное слово, замордовать ученика, а потом посочувствовать.

«Ага! Начала-таки...»

— Валентина Павловна,— заговорил я, напуская на себя ледянную, академическую вежливость Степана Артемовича,— за пять лет моей работы такой случай единственный. Не слышал, чтоб и до меня случалось что-нибудь подобное. Я видел во дворе вашего дома здоровых, весело смеющихся ребятишек. Они тоже ученики нашей школы, но не выглядят замордованными.

— Неужели думаете, что влияние вашей школы так сильно, что может совсем заглушить здоровую человеческую природу? Как бы вы ни усердствовали, все равно будет смех, веселье, детская жизнь.

— Так в чем же дело? За что вы на нас нападаете? За это несчастье? Мы теперь ничем не можем помочь, кроме как высказать ненужные вам соболезнования.

— За что?.. Не кажется ли вам, что такой вопрос слишком сложный, чтоб решать его походя, стоя на пороге в застегнутом на все пуговицы пальто?

— Я готов вас выслушать.

— Тогда еще раз снимите пальто и войдите в комнату.

Она положила на стол свои руки, полные у запястья, с тонкими и узкими кистями, где проступала каждая kostочка. И почему-то я невольно сравнил эти по-женски

слабые кисти рук со своими — тяжелыми, толстопалыми, с крепкими раковинами ногтей. Теперь, когда мы уселись и оказались близко друг от друга, я почувствовал себя несоразмерно огромным, каким-то шероховатым рядом с нею.

— Я обратила внимание, что вы во время разговора с Аней удивленно поглядывали на микроскоп...

— Я подумал, что вы когда-то были микробиологом по специальности или кем-то в этом роде.

— У меня нет специальности, — сухо сообщила она, — и это тоже можно бы отнести к теме нашего разговора... Просто Аня любит биологию. Ко дню рождения, когда она стала выздоравливать, я купила ей этот микроскоп, с ним было связано столько радужных планов, но тут ваша школа... Словом, микроскоп вытащили из футляра после того, как она слегла в постель. Пусть хоть со стороны полюбуется на него. Вы украли у своих учеников свободное время. Им некогда прочитать книгу о приключениях, нет времени копаться в радиоприемниках, смотреть амеб в микроскоп, возиться с цветами, фотографировать, то есть делать то, к чему тянетесь душа.

— Вы преувеличиваете. Кто захочет, тот все-таки найдет время и для книги и для фотоаппаратов...

— Не с помощью школы, вопреки ей.

— Беда в другом, Валентина Павловна. Большой частью ученики предпочитают всяким благородным занятиям убогие уличные развлечения: гонять собак или стрелять из рогатки по воробьям.

— Тоже не случайно. Не стихийный ли протест с их стороны? Ваша школа, как строгий пастух стаду, не дает ученикам ни на шаг отлучиться с тропы, предопределенной учебной программой. Иди только по ней, ни на пядь в сторону. А дети жизнелюбивы, им больше, чем нам с вами, хочется разнообразия. И в тот момент, когда школьное око ослабляет надзор, бросаются на первое попавшееся развлечение, хотя бы гонять собак. Глядишь, это становится привычкой, превращается в убогое увлечение. А увлечение — великая сила. Тот не человек, кто живет без увлечения!

— Уж так-таки не человек?..

— Вы, наверное, любите повторять красивые слова о творчестве масс. Но разве можно говорить о творчестве, забывая, что его не может быть без увлечения? Равнодушные, холодные люди не творят. Вы не согласны?

— Согласен, с оговорками. Порой бывает, что увлече-

вия уводят человека в другую сторону. Я сам в детстве увлекался рисованием. Но, как видите, из меня получился не художник, а преподаватель русского языка и литературы.

— А вы думаете, я настолько наивна, что рассчитываю: ребенок, занимающийся постройкой авиамоделей, непременно должен быть новым Туполевым? Пусть увлекается, пусть заблуждается. Легче переносить заблуждения в ранней юности, чем в зрелые годы.

Валентина Павловна сидела передо мной, выбросив на стол свои полные с маленькими кистями руки, закутавшая плечи в шерстяной платок; прядь прямых светлых волос падала на твердую щеку, глаза остановились на одной точке. Она приподняла руку, должно быть, хотела исправить волосы, приподняла и снова безвольно уронила, продолжая глядеть в стол и думать о чем-то своем, какая-то обмякшая, с сутуло выдвинутыми вперед плечами. И от этого движения руки, начавшегося и сразу же забытого, оборвавшегося на половине, я вдруг почувствовал, что она мне многого не договаривает. Дело не только в ее дочери. Не только в ее личных наблюдениях за нашей школой. У нее со школой какие-то свои собственные, причем давние, счеты. Что за счеты? Расспрашивать неудобно. Зачем лезть насилино в чужую душу? Нужно — скажет сама.

— Вы часто вспоминаете свою школу, в которой учились? — спросила она после минутного молчания.

— Часто ли? Не знаю. Но вспоминаю.

— С благодарностью?

— Да, как вспоминаю детство. А на свое детство я не могу пожаловаться.

— А я вот теперь жалуюсь на детство, — у нее странно потемнели глаза. — Жалуюсь... И не подумайте, что оно у меня было мрачным, что были плохие родители. Мой отец и мать жили между собой в добром согласии, любили меня без памяти, как любят единственную дочь. Уж чем-чем, а родительской лаской я не была обделена. По всем статьям у меня было, что называется, золотое детство. А я на него жалуюсь...

— Почему же?

— Да потому, что по какой-то причине все уверовали: я непременно должна быть круглой отличницей, каждый год приносить домой похвальные грамоты.

— Разве это плохо?

— О нет, считалось доблестью. Мои родители таяли от

восторга, учителя называли «жемчужиной школы», а я, видя кругом такое почитание, все отдавала учебе — все силы, все время. Разве можно не оправдать надежд, разве можно опозорить себя невысокой отметкой? Ох, эта обязанность быть круглой отличницей! Однаково хорошо ты должна знать и алгебраические уравнения, и характеристику однодомных растений, и причины возникновения буржуазной революции во Франции. Отличники в большинстве случаев — это дети без увлечений, без заекоков, сплошная добросовестность, гладкие, без шероховатостей и задоринок души. Должно быть, моя душа напоминала математически точную окружность, все точки которой однаково равнодалены от центра. Такой я перешагнула за порог школы. Что мне желать? К чему влечет? Какому делу отдать себя? Подвернулся стоматологический институт. Но когда первый же пациент открыл рот перед пами, группой студентов, когда я поняла, что мне всю жизнь придется ковыряться в гнилых зубах... А мне ведь казалось, что я исключение из всех, я особая, я выдающаяся. Об этом твердили мне учителя, это как должное принимали мои подруги, мною гордились родители. Нет, я ждала исключительную судьбу. Что за радость всю жизнь видеть перед собой распахнутые чужие пасти! Я с легкостью бросила институт, пошла работать на завод нормировщицей. Шла война, я рвалась на фронт — не отпускали. Ждала, судьба сама придет ко мне. Как-то написала несколько корреспонденций в областную газету. А так как во время войны все сотрудники газеты были взяты на фронт, меня перетащили в редакцию, посадили в один из отделов. А я не обладала ни ловкостью репортера, ни особыми способностями очеркаста... Где-то есть то дело, к которому я способна! Есть! Не может не быть!.. Но где оно? Я не знаю. Никто не знает. Причесывать статьи, сокращать под размер колонок очерки, ворошить с холодным сердцем писанину, которой суждено прожить всего один день,— нет, не хочу! И слава богу, что одна история помогла мне оставить работу. Эта же история свела меня с Петром Ващенковым. И вот я не врач-стоматолог, не слесарь, не журналист, а просто жена секретаря райкома товарища Ващенкова, которому, как видите, вчера стирала белье, а сейчас жду: придет с заседания, должна подогреть ужин... Может быть, виновата я сама, виновата моя плохая натура, виноваты родители, но наверняка виновата и школа!.. Андрей Васильевич, вы педагог, вы в жизни ребенка — первый представитель общества. Никогда не рассчитыварай-

те, что кто-то лучше вас позаботится о воспитании. На вас страшная ответственность!

Щеки ее побледнели, а глаза были темные. Я не перебивал ее, не возражал, я не без душевного содрогания разглядывал ее.

Трижды в моей жизни я испытывал тревогу: как жить дальше? Первый раз я почувствовал ее после армии, в своем родном городке Густой Бор, когда пришла пора обдумывать, кем быть, где учиться. Второй раз — моя катастрофа на художественном факультете. Третий — памятное воскресенье, когда показалось, что снова кисти мои засохли. Я знаю, как это страшно — оказаться без будущего, искать и не находить ответа, для чего живешь, кому нужны твои силы. Только три раза, три сравнительно коротких мгновения в моей жизни! А Валентина Павловна живет в этой тревоге всю жизнь! Всю!.. Без будущего, без ответа, кто она такая, для чего появилась на земле. Сейчас она мне приоткрыла только маленький кусочек своей биографии, а ведь после этого были годы и годы: варила обеды, стирала белье, прибирала комнату, ждала мужа с работы. Если б она смирилась, приняла бы это как должное... Живут же люди, не заглядывая далеко, живут иывают довольны жизнью. Но она-то не смирилась. Утеряны уже все надежды, а желания живут. По-своему страшная жизнь. Не хотел бы я оказаться на месте этой женщины....

17

Мне не суждено было закончить день в покойном одиночестве.

Я поднимался на свое крыльцо. Из глубины темного двора меня окликнул женский голос:

— Андрей Васильевич!

Это была Альбертина Михайловна, жена Акиндина Акиндиновича.

— Ваша Тонечка у нас. И вас ждем. Толя приехал.

По неписанным законам добрососедства отказаться было нельзя. Я направился за Альбертиной Михайловной.

В большой комнате с дедовским буфетом, заставленным фарфоровыми пастухами и пастушками, сидела за столом вся многочисленная семья во главе со своим лысым патриархом. Акиндин Акиндинович улыбался застенчивой улыбкой непьющего человека, который вопреки привычке совершил-таки грех и в душе доволен им, как подвигом.

Меня встретили с подобающим для такого случая преувеличеным восторгом, усадили рядом с женой, пододвинули стакан со смородиновой настойкой.

Виновником торжества был старший сын Акиндина Акиндиновича Анатолий, приезжавший изредка к родителям из удаленного села Лисовицы. Он чокнулся со мной и продолжал прерванный разговор:

— Так вот, я и говорю, что самое важное для нашей педагогической работы — это характер. Без характера нельзя быть учителем. Дети это чувствуют лучше взрослых...

Анатолий Акиндинович, как и отец, тоже учительствовал. Он работал директором семилетки. И то, что его школа находилась в удаленном сельсовете, давало ему право постоянно повторять: «Ближе нас из интеллигенции никого нет к народу».

Акиндин Акиндинович, как и всех своих чад, наградил Анатолия своим тяжелым поярковским носом, но не сумел передать сыну глаза — веселые, наивные, лучащиеся добротой. У Анатолия взгляд был твердый, холодный, преисполненный собственного достоинства. Свой паярковский нос он поднимал с величавостью, говорил уверенно, с теми раз навсегда заученными учительскими интонациями, которые не допускают никаких пререканий.

При наших нечастых встречах я неоднократно замечал, что Анатолий Акиндинович больше любит говорить и почти не умеет слушать. Можно было догадываться, что и сейчас до моего прихода он говорил только один.

— Основное мерило характера — требовательность и еще раз требовательность. Только в этом проявляется сила учителя, только это по-настоящему дисциплинирует учеников. Боже упаси ослабить требовательность и допустить детей до порочной свободы, которая чаще всего выражается в том, что, вместо того чтобы сидеть за домашними заданиями, школьники гоняют по улицам собак!..

Если б он не произнес последних слов — «гонять собак», тех самых, какие я недавно произносил перед Валентиной Павловной, я, возможно бы, смолчал, не стал лезть в спор. Но этими словами он словно приравнял мои возражения к своим нотациям. И я не выдержал.

— Анатолий Акиндинович, — прервал я его правоучительные излияния, — послушать вас, так невольно создается впечатление, что характер учителя не что иное, как палка для учеников.

Анатолий Акиндинович со спокойным удивлением взглянул на меня.

— Вольному воля, при прыткой фантазии можно и деревенскую коровенку принять за уссурийского тигра.

Акиндин Акиндинович радостно заулыбался, Альбертина Михайловна скромно потупилась. Они оба верили в высокое будущее старшего сына не только как любящие родители, но и как люди, которые, однажды завоевав положение в жизни, уже не сдвинулись с него ни на пядь. Шутка ли, отец и мать около двух десятков лет работают в школе и до сих пор рядовые учителя, а их сын, едва только начав свой педагогический путь, уже стал директором. Можно верить в него, можно им восхищаться. И сейчас они были в восторге, как им казалось, от чрезвычайно остроумного ответа сына.

Тоня повернулась ко мне и выразила на своем лице постную, укоризненную гримасу, означавшую: «Андрей, забываешь, что ты в гостях».

Все это вызвало во мне раздражение.

— Если принять корову за тигра, то она от этого не превратится в хищника и не наделает вреда. А вот принимать палку за оружие воспитания, насилие за педагогический прием — опасно.

Анатолий Акиндинович еще выше поднял свой нос.

— Насилие? При чем тут это слово? Но пусть даже так. Дело не в словах. Если то, что вы называете насилием, благородно, если оно ничего, кроме пользы, не приносит, громадной пользы, почему бы отказаться от него?

— Насилие никогда не приносит пользы. Хотите того или нет, но вы просто-напросто проповедуете диктаторские идеи. Насилие приносит людям только вред.

— Позвольте! Не будем вдаваться в высокие материи. Нет, нет, позвольте мне говорить. Я вас не перебивал!.. Вернемся к нашей будничной жизни. У вас есть дочь, она скоро подрастет. Вы что же, ей дадите полную свободу? Делай, мол, родная, что взбредет в голову. Захочется учиться — учись, не захочется — лодырничай, пропускай уроки, гоняй кошеч по двору. А она — ребенок, ее ум и ее самоконтроль находятся в недоразвитом состоянии. Она увидит, что гонять кошеч по улице куда легче, чем сидеть на уроках, корпеть над домашними заданиями. Разумеется, она выберет не школу, а улицу. Что вы тогда сделаете? Будете проповедовать теорию: мол, вольному воля? Нет, вы примените определенное насилие. Я не говорю о насилии палки. Вы примените насилие своего характера над

характером дочери. Вы силой характера заставите ееходить в школу, силой готовить уроки, силой читать полезные книги. Именно силой характера. И если только окажется недостаточно этой силы в вашем характере, вы будете вынуждены, к стыду вашему, применить грубую силу отцовского ремня, что достойно всяческого осуждения.

— Мне наверняка придется прибегать к тому, что вы называете силой характера. Быть может, не исключено, что я при каких-нибудь обстоятельствах применю даже грубую силу ремня...

— Ага!

— Но я никогда, понимаете, никогда не допущу, чтоб сила моего отцовского характера стала основным и единственным методом воспитания.

— Позвольте...

— Моя дочь должна учиться, моя дочь должна быть честной, правдивой, лишенной пороков эгоизма и прочих дурных качеств! И грош мне цена, если я буду добиваться этого через страх перед своим характером, с помощью моральной палки, потенциального отцовского ремня! Учись, не то обидится отец, не лги, иначе характер твоего отца выйдет из равновесия, попробуй украдь или выказать жадность, как опять будешь иметь дело со всемогущим и грозным отцовским характером.

— Помилуйте...

— Страх перед силой неизбежно приучит лгать, вызовет чувство недоверия к окружающим, сделает из нее эгоистку, паконец учеба по принуждению, а не по сознательной необходимости превратится для моей дочери в наказание...

— Позвольте же в конце концов... Могу ли я вставить свое слово? Вы противоречите сами себе. То вы откровенно признаетесь, что будете применять не только силу характера, но и отцовский ремешок, то с яростью доказываете совершенно обратное! Как вас понять?

— Понять просто. Силу характера, силу голого авторитета я не отрицаю начисто. Она есть, она всегда будет иметь какое-то место как в жизни, так и в школьном воспитании. Но она должна проявляться изредка, в виде исключения, а ни в коем случае не быть постоянно действующим методом. Основной же силой я считаю убеждение и разъяснение. Я попытаюсь сделать так, чтоб моя дочь училась не из-за того, что я или мать принудили ее к этому, а потому, что она поняла: это необходимо, это

нужно, а быть может, добьемся даже того, что — интересно. Понятно вам?

Проповедник сильного характера, тщедушный, узкогрудый, с крупной отцовской головой, с независимо поднятым отцовским носом, сидел возле своего стакана со смородиновой настойкой и всем своим непроницаемым видом говорил: «Обожди, обожди, я храню про себя такое, которое сразу же прихлопнет все твои доводы». Он попевелился на стуле, выше поднял свой нос, и я понял: именно сейчас пойдет он своим козырным тузом.

— Андрей Васильевич, дорогой мой,— заговорил он торжественно,— вы учитель, но даже вам, учителю, сознайтесь, очень и очень трудно будет воспитывать свою единственную дочь с помощью одних только разъяснений и убеждений.

— Да, это куда труднее, чем применять силу характера.

— Прекрасно! Но вспомните, наш спор начался со школы. Вы возражали, что сила характера не метод школьного воспитания. Не так ли?

— Именно.

— Прекрасно! Но если до невозможного трудно воспитывать одного ребенка, если вы признаетесь, что иногда придется отступать от принципа убеждений и разъяснений, подменять его даже ремнем, то как быть в школе, где приходится воспитывать не одного, а десятки, сотни детей? Там даже нельзя применять ремень, ибо это по праву считается преступлением. Как быть? Убеждать и разъяснять?.. Если вы скажете да, я вам возражу: это благородно, это красиво, но невыполнимо! Это пустая, звонкая фраза. И вы это прекрасно знаете. Вы работаете в школе, где все подчинено характеру одного человека, перед которым я преклоняюсь, характеру Степана Артемовича Хрустова. Оттого-то ваша школа считается одной из самых лучших во всей области. Вы же не возьмете за пример Валуйскую школу, где в прошлом году оказалась чуть ли не третья второгодников в каждом классе?

— Почему вы думаете, что есть только два пути — путь Хрустова и путь Валуйской школы?

— Тогда скажите, какой бы вы могли предложить путь?

Я молчал. Голубые глазки Анатолия Акиндиновича со скрытым торжеством буравили меня крошечными зрачками.

— Увы, я пока не могу взять на себя смелость за-

явить, что твердо знаю новые пути,— ответил я,— но они, верю, существуют.

— Пока?.. Но будете знать эти пути?

— Непременно, даже в том случае, если на это уйдет вся моя жизнь.

— И может, сами откроете этот третий путь?

— Если никто не подскажет, буду пытаться открыть его сам.

— Уж, простите, это весьма сомнительно.

Анатолий Акиндинович с облегчением откинулся на спинку стула. Торжество собственной правоты было написано на его узком, худощавом лице.

— Хватит вам,— подал наконец свой голос Акиндии Акиндинович.— Таких разговоров и в школе достаточно. Что не люблю, то не люблю — говорить дома о работе. Скажите лучше вы, оба молодые да ученые, правда это или нет, будто десять взрывов водородной бомбы могут испакостить всю атмосферу?

— Ох, что делается на белом свете! — огорченно вздохнула Альбертина Михайловна.

Я залпом допил свой стакан настойки и поднялся с места. Тоня, боясь, как бы не приняли это за неучтивость, сделала вид, что и ей некогда.

— Утром вставать рано. Спасибо за хлеб-соль. К нам просим.

18

Зажгли свет в комнате. Тоня привычно поправила на столе скатерть, стала перед зеркалом, закинув обнаженные руки, выставив обтянутые тонкой кофточкой груди, стала вынимать из волос шпильки. Я глядел на нее.

Сильная, гибкая спина, белая, расширяющаяся к плечам, сужающаяся к голове шея — в высокой, крепкой фигуре привычное домашнее спокойствие, знакомый уют, как и во всем, что ее окружает. Утонув в чистых простынях, спит Наташка,— неощутимо ее дыхание. Нет-нет да из кухни донесется натужное всхрапывание намотавшейся за день-деньской суетливой бабки Настасьи. На стене, отщелкивая секунду за секундой жизнь нашего безмятежного мирка, трудятся ходики. А Тоня — центр всего. Она стоит перед зеркалом, трудолюбивая владычица своего крошечного, крепкого, как сама жизнь, царства.

А у меня тревожно на душе, мне последнее время почему-то трудно жить, меня беспокоит будущее. И кому,

как не Тоне, раскрыть душу, от кого, как не от нее, услышать мне слово успокоения! И не только потому, что она самая близкая, но и потому еще, что в ней я постоянно ощущаю завидную, бесхитростную мудрость: уверенно, просто, без лишних размышлений глядеть в завтрашний день.

— Тоня,— окликнул я ее,— ты довольна своей работой?

— А что? — отозвалась она, не поворачивая головы.

— Как что? Нельзя же жить так, как живет Акиндин Акиндинович. Отстучал уроки — и с плеч долой. Ты об этом когда-нибудь думала?

— А что думать? — Она, так и не вынув всех шпилек, сбериулась ко мне.— Тысячи учителей так учат, и все довольны, только мой дурачок почему-то взбесился.— Она с ласковым укором поглядела на меня и закончила с покорным вздохом: — Что делать...

Я молчал. Она сказала: «Что делать...» И для нее это был не вопрос, а простой и ясный ответ: «Что делать, когда жизнь такова, не мы ее создавали, не нам ее изменять».

Я осторожно прошелся по комнате, с непонятным для себя вниманием косясь на Тоню. Она перебирала пальцами волосы, искала затерявшуюся в них шпильку. И тут я заметил, что ее широкие белые красивые руки слишком велики по сравнению с головой. Странно, я, проживший с ней бок о бок почти семь лет, впервые сейчас обратил внимание на то, что ее голова не по телу мала. Широкий разворот плеч, горделивая, не снисходящая до девической стыдливости грудь, тонкая упругая талия, широкие, плотные, с каким-то мягким и в то же время смелым изгибом бедра, крепкие точеные икры... Я чужими глазами глядел сейчас на то, что мне давным-давно уже примелькалось, чем я втайне по-мужски гордился.

Сейчас я подумал о том, что человек с таким телом хорошо приспособлен к жизни: ни тяжкий труд, ни ежедневные переутомления не скоро-то высосут силы. Такой человек в конце концов добьется для своего щедро одаренного тела всего: и тепла, и чистоты, и мягкой постели, и сытной пищи, и душевного покоя, чтоб не будоражить понапрасну нервы, и физической работы, чтоб от безделья не сохли мускулы,— всего, что в обыденности зовется уютом.

Абажур рассеивал по комнате сухой оранжевый полусумрак. Со старческим стоном ворочалась за перегородкой бабка Настасья. На стене над детской кроваткой ходи-

ки отстукивали все новые и новые мгновения в недавно начавшейся жизни моей дочери.

Тоня, вскинув свою маленькую голову, бережно неся брошенные за спину длинные волосы, проплыла к кровати, стала раздеваться, привычно обнажая передо мной знакомые богатства своего тела. Наконец взглянула с томной усталостью через плечо:

— Ты что, до утра от стены к стене шататься будешь? Туши свет да ложись скорее.

Я стал покорно раздеваться.

19

О чём чаще всего думает человек?

Странный вопрос, не правда ли?

Более двух миллиардов людей живут на земле. Что ни человек, то свои расчеты, свои заботы, свои мысли. Попробуй сказать, о чём чаще всего думают эти не поддающиеся точному подсчету миллиарды людских голов, в разной степени одаренные природой способностью к мышлению.

И все-таки человек чаще всего, упрямей всего думает о будущем! Для одних — это мысли о судьбе всего человечества или о судьбе своей страны. Они забегают мечтой на сотни лет вперед. Для других же — просто заботы о том, как самому прожить завтрашний день, ближайшую неделю. Будущее людей разнообразно, как сами люди. Оно может быть и беспредельно великим, и обидно куцым.

Мне в руки попал журнал, где была напечатана статья о Швеции. В недавнем прошлом нищий крестьянин этой страны хлебал свою жидкую похлебку из выщербленной деревянной миски. Сейчас внуки этого крестьянина живут в коттеджах, моются в ваннах, пользуются личным телефоном, готовят обеды в кухнях, напоминающих по своей белизне врачебные кабинеты благоустроенных поликлиник. Деревянные миски хранятся как реликвии рядом с фаянсовой посудой. Почти исполнилась мечта о молочных реках и кисельных берегах.

Казалось бы, народ при такой жизни должен быть счастлив. Но счастья нет. Швеция после такой же благоустроенной Дании — вторая страна в мире по количеству самоубийств. В Швеции угрожающее падение нравов...

Матери, укладывая своих детей в чистые постели, выходят по вечерам из благоустроенных квартир на панель.

Не нужда, не желание приобрести кусок хлеба заставляют их заниматься проституцией...

Юноша, не успев еще переступить в свое совершенное летие, уже разочарован. Чем его может обрадовать будущее? Любовными связями? Но он уже успел их вкусить, успел пресытиться ими. Учбой? Есть же особое наслаждение в том, что постигаешь накопленные человечеством знания! Но учеба ради учебы — бесмыслица. Сидеть над книгами, вгрызаться в формулы, чтобы получить ученую степень, когда и без нее можно так же легко прожить, получив при наименьших усилиях профессию парикмахера или коммивояжера. Бросить силы на какие-либо дерзновенные дела, на благо людей? Но кому нужны дерзания? Комфортабельно живущие люди не нуждаются в помощи. А жизнь отмерена, впереди часы, дни, годы, десятилетия, которые нужно чем-то заполнить. Заполняй их всем, что ни подвернется: плотские утехи со скучой пополам, ухаживание за собственной бородой, которая придаст скучающей физиономии оригинальный вид.

Возможно, что снизойдет счастливая удача, свалится настоящая любовь. И вот жизнь полна скромно потупленными ресницами, мягким изгибом плеча, чистой линией свежего рта и голосом, от которого падает сердце. А ей прискучит пресная любовь, вместе с ресницами, покатыми плечами и своим неповторимым голосом бросится в объятия к другому или к двум, трем сразу. Снова пустота и бесцельность, а может, петля, прикрепленная рядом с люстрой, или пистолет, направленный в потный висок.

Дед этого юноши, тот, кто хлебал похлебку из деревянной миски, исступленно мечтал: *для себя* добыть кусок хлеба, *для себя* построить дом, *себя* обеспечить, *своих* близких. В этом была цель жизни, смысл жизни, хоть не великое, но определенное будущее. И вот его внуком эта цель достигнута. А дальше что? Оказывается, *для себя* не так уж много и нужно. Нет никакой цели, жизнь теряет смысл, исчезло будущее.

И что из того, что в общей жизни много нерешенных проблем и недостигнутых целей? Есть въевшаяся привычка жить *для себя*, вглядываться только в *свое* будущее, даже если оно и представляет собой бесплодную пустыню.

Не стоит презирать такого человека, он достоин скорей жалости, как больной, который из-за недугов не может познать настоящей жизни.

На уроках, глядя на своих учеников, я теперь стал задумываться.

Скачущие, блестящие глаза Сережи Скворцова, гладко прилизанный пробор Гали Субботиной, сосредоточенно тяжелый взгляд на широком замкнутом лице Сони Юрченко, скучающая, с развалочкой поза Феди Кочкина... Они уже сейчас все разные, совершенно непохожие друг на друга. А их жизнь только еще началась. Какими же разными они станут потом, когда вырастут?

Все учителя нашей школы пророчат в один голос первому ученику Сереже Скворцову блестящее будущее: он, мол, на редкость способен, все дается ему с завидной легкостью... И не об одном Сереже судят с безоговорочной уверенностью. Если прислушаться, то будущее каждого ученика наперед известно, их судьбы в головах наших педагогов аккуратно разложены, как рассортированные товары на полках магазинов. У Сережи Скворцова блестящая перспектива, Соня Юрченко, вне всякого сомнения, тоже своего добьется, а Федя Кочкин, увы, нет: он ленив, не желает учиться, не в ладах с дисциплиной; в будущее же Лени Бабина незачем даже и заглядывать...

Но на меня теперь находят сомнения.

Так ли верно, что Сережа Скворцов с той же легкостью, с какой учится, будет добиваться успехов в жизни? Он уже начинает привыкать к тому, что все его маленькое существование состоит пока из беспрерывных крохотных побед. В настоящей же жизни не бывает таких счастливцев, которые бы совсем не испытывали поражений. И чаще всего эти поражения случаются в самом начале самостоятельного пути. Что, если жизнь сразу оглушит удачливого Сережу? Не желая того, учителя ему внушают, что он особенный среди всех, лучший из лучших. Я частенько замечал, как довольно поблескивают глаза Сережи, когда Федя Кочкин получает двойку. Федя верховодит на переменах, он капитан футбольной команды, крепкие кулаки в потасовке; тщедушный Сережа обязан ему подчиняться. Поэтому при каждом поражении Кочкина Сережа даже не умеет скрыть своего торжества. Не тревожный ли это признак?

Мне очень нравится волевое, добротное упрямство Сони Юрченко. Нравится, но это не значит, что я с полным благодушием смотрю на ее будущее. Здесь, в школе, ее упрямство, ее воля направлены только на то, чтоб ей самой усвоить знания, себе получить высокую отметку. Все славные качества только для себя. А что, если она и дальше будет продолжать жить для себя? С доступным ей упрямством начнет добиваться своей карьеры, силой воли

заставит себя стать равнодушной или даже жестокой к другим. Все превозносят ее добросовестность, но забывают, что часто такая добросовестность сочетается с ограниченностью, неспособностью самостоятельно думать. Соня Юрченко все свои силы отдает тому, чтобы запоминать, заучивать, ей просто некогда подумать над тем, что она учит. А разве это не опасно: упрямый, волевой, недумающий человек! Нет, не могу не тревожиться за будущее Сони.

Многие из учителей невысокого мнения о Феде Кочкине. Но я наблюдал, как он гоняет мяч, как увлекает ребят на футбольном поле: старшеклассники покорно слушаются его властного окрика. Теперь он часто загорается на моих уроках: шея напряженно вытягивается, глаза блестят, рот сжимается в упрямую линию. Интересному он отдает всего себя, скучному не может уделить крохотную частичку внимания. Но ведь большей частью уроки в нашей школе скучны и тягучи. Один ли Федор Кочкин окажется виноватым в том, что выйдет из стен школы недодучкой, набросится на первую попавшуюся профессию? А люди с такими характерами, если не найдут себе всепоглощающего интереса в жизни, часто начинают искать развлечения в водке, в шумных компаниях.

Я всеми силами стараюсь, чтобы мои уроки были интересными, и, кажется, мне удается это. Мои ученики не просто получают знания. Получать знания — какие скучные слова! Знания не паек, который сколько нужно, столько и вручил по твердой норме на голову. Я хочу, чтоб ученики *жили* знаниями во время уроков. Но могу ли я похвальиться, что всем доволен, ни в чем не упрекаю себя?

Нет, не всем!

Я возмущаюсь про себя, что Сережа Скворцов торжествует при неудачах Феди Кочкина, мне не нравится, что упрямство Сони Юрченко направлено только *для себя*. Но ведь я из урока в урок твержу: выполни *сам* домашние задания, отвечай только *за себя*, не давай заглядывать в свою тетрадку! А это не проходило бесследно. Не желая того, я постоянно воспитываю людей *для себя*. Что может быть страшнее — проповедовать принципы коллективизма и в то же время пестовать индивидуалистов!

Федя Кочкин не выполнил домашнего задания. На этот раз я был строг, без всякого снисхождения против его фамилии поставил в журнал жирную двойку, объявили:

— Придется оставаться после уроков.

Но вместе с Кочкиным я решил оставить и Сережу Скворцова.

— Надо помочь. Кто лучше тебя сможет толково рассказать?

Оставаться после уроков — своего рода наказание. Сережа хмурился, отводил глаза в сторону, теребил рукой пуговицу на гимнастерке. Оставаться! Из-за чего? Из-за того, что Федор Кочкин получает двойки по русскому!

Но я вглядываюсь в его худенькое, остроносое, лукавое лицо и улавливаю некоторую наигранность: уж слишком подчеркнуто его недовольство, что-то очень старательно прячет от меня глаза. И по этому ускользающему взгляду я понимаю: во-первых, он польщен, что я сказал о его толковости; во-вторых, Федя Кочкин, вечный командир на переменах, окажется под его, Сережи Скворцова, опекой. Суетная натура у мальчишки!

Заставить сильного ученика заниматься с отстающими — в любой школе любой учитель пробует таким способом подтянуть успеваемость. У меня же расчет иной: если Сережа станет учить Федю, то Федина двойка будет вызывать у Сережи не торжество, а огорчение.

К встрече Сережи и Феди я решил подготовиться с такой же тщательностью, как и к своему уроку. Поздно вечером, отложив в сторону все дела, склонившись у цветущего абажура настольной лампы, я принялся писать пьесу. Да, пьесу с двумя действующими лицами, с двумя героями. Один герой спрашивает, другой отвечает. Автор, создающий обычную пьесу, спокоен: актеры, пожелавшие принять облик его героев, будут послушны его воле. Они станут спрашивать, как он, автор, того захочет, и отвечать на эти вопросы так, как он считает нужным. Действующие лица моей пьесы не так послушны, они могут отвечать на вопросы иногда правильно, иногда сбивчиво и туманно, могут и вовсе не отвечать. А я должен предусмотреть, какие нужны дополнительные вопросы, как обязан поступать тот, кто спрашивает. Я писал необычную пьесу, состоящую сразу из многочисленных вариантов. Все возможное и невозможное в будущем разговоре Сережи и Феди я старался предусмотреть.

А на следующий день я репетировал с Сережей Скворцовым. Вопрос. Я отвечаю. Что ты после этого спросишь? А если я отвечу иначе? Как быть?..

Это походило на игру в охоту. Красный зверь бросится туда — стоп! Тут его можно так-то встретить. Если он

вздумает бежать в другую сторону — тоже стоп! И здесь предусмотрена засада. Куда ни кинься, все рассчитано. У Сережки горели от возбуждения уши, когда он получал от меня листки с вопросами.

Пришло время встречи. Смолк постепенно шум на нижнем этаже возле раздевалки. Мимо дверей класса кто-то прошел, его шаги гулко прозвучали в пустом коридоре. Федя Кочкин с покорной скучой на скучающем лице уселся перед Сережей Скворцовым. А у Сережки вид сурово-сосредоточенный, он деловито раскладывает перед собой бумаги. Маленький, степенный, он напоминает мне сейчас Степана Артемовича, готовящегося открыть очередное заседание педсовета.

Я сижу в стороне от них на своем учительском месте, делаю вид, что углубился в тетради. Я — автор и режиссер, жду начала своей премьеры. И хотя есть только актеры, нет зрителей, которые могли бы освистать нас, я все-таки испытываю легкий холодок в груди: получится моя затея или нет?

Сережа приступил к своим обязанностям.

— Напиши, — приказывает он, — такое предложение: «Было то время года, перевал лета, когда урожай нынешнего года уже определился, когда начинаются заботы о посеве будущего года и подошли покосы, когда рожь вся выколосилась...»

Федя добросовестно записывал длинное, как школьное сочинение, предложение Толстого.

— Записал?.. Теперь напиши короткое предложение: «После того как письмо Петру было написано, он повеселел...» Записал? А теперь скажи: похожи эти предложения друг на друга? Нет? Давай разберемся, может, в чем-то похожи. Что самое главное сказано в коротеньком предложении? Ага, «он повеселел»...

Пункт за пунктом Сережа стал допрашивать Федю; тот, вдумываясь, хмурился и отвечал. Сергей набрасывался с новыми вопросами. Спотыкаясь, оступаясь, Федор Кочкин двигался ощупью к нужной цели — к правилу о придаточных предложениях времени.

Час спустя Федор Кочкин поднялся со своего места. Он уважительно и смущенно поглядывает на Сережу. Сережка, чувствуя на себе этот взгляд, такой непривычный для самоуверенного Федора, розовеет от гордости и смущения, возбужденнокусает ноготь на пальце, косится в мою сторону, ждет похвал. А я не торопясь складываю в стопку тетради, спрашиваю с нарочитым равнодушием:

— Кончили? Что ж, идите по домам.

Из окна учительской я видел, как рядышком, оживленно о чем-то беседуя, они прошли по заснеженному двору школы.

На следующий раз я репетицию с Сережей не проводил, а только дал новые вопросы, короткие указания да предупредил:

— Смотри, ответит плохо Кочкин, тебя уважать перестану.

Через несколько дней Кочкин получил пятерку. Всегда горделиво сдержанная, невозмутимая, физиономия Федора лишь чуть обмякла, когда, задевая карманами пиджака за углы парт, он торопливо возвращался на свое место. Сережа Скворцов был более откровенен: он возбужденно вертелся, гримасничал, несколько раз показал Федору торчком поднятый большой палец: «Во как ответил!» В ту минуту был доволен и я, но только в ту минуту...

Я заставил Скворцова радоваться удаче Кочкина, но этот же Скворцов совершенно равнодушен к тому, как будет отвечать Паша Аникин или Галя Субботина. Закон «один — за всех, все за — одного» для моих учеников не существует. Как и прежде, я вынужден постоянно твердить: выполняй сам домашние задания, отвечай сам за себя, не давай заглядывать в свою тетрадку, прикрывай ее рукой от соседа — всюду сам, и только сам! Иначе и невозможно, разреши действовать сообща — начнутся списывания, подсказки, пышным цветом расцветут в классе трутни.

Если б мои ученики, как колонисты Макаренко, совместно жили, совместно работали, сообща добывали себе хлеб насущный, то не стоило бы и волноваться, что они учатся в одиночку, чувство локтя они приобрели бы вне стен класса. Но наши школьники живут каждый в своей семье, единственное, что их объединяет, — учеба. А вся учеба построена на одном — заботиться о самом себе! Нужели тут ничем не поможешь, неужели нельзя найти выход?..

Вот уж воистину как в сказке о многоголовом змее: срубишь одну голову, вырастет другая... Будет ли конец, придет ли время, когда с легким сердцем сможешь сказать себе: сделано все, что хотел, добился того, чего добивался?

Вряд ли. Чем дальше в лес, тем больше дров.

Я часто навещал больную Анию Ващенкову.

Каждый раз меня встречала Валентина Павловна, энергично пожимала руку, ждала, глядя снизу вверх, пока я снимал пальто, потом, двигаясь своей решительной мелкой походкой — голова откинута чуть назад, грудь вперед, — вела в комнату дочери. Я присаживался возле постели и говорил обо всем, что придет в голову... По ночам в школьный садик повадился бродить заяц, каждое утро видят его следы на сугробах. Наш завхоз Афанасий Кузьмич сторожит с ружьем у открытой форточки... Первый человек, который увидел микробов в микроскоп, был не ученый, а купец — торговал мануфактурой... Нет, в простой микроскоп ни молекулу, ни атом нельзя разглядеть... Да, людям известно, сколько весит самый легчайший атом и сколько весит вся Земля...

Аня перестала чуждаться. Услышав из-за стены мой голос, приподняв голову с подушки, она ждала меня, серые глаза выжидательно глядели с бледного узкого лица, худенькая рука лежала уже поверх одеяла, готовая протянуться ко мне. На свою мать она походила только глазами, во всем остальном — лицом, несколько нескладной, долговязой фигурой — на отца.

Я познакомился с ее отцом. До сих пор первого секретаря райкома партии Петра Петровича Ващенкова я видел только на партконференциях, расширенных семинарах лекторов и случайно на улице. Высокий, чуть сутуловатый, медлительный в движениях, лицо с крупным, несколько мясистым носом постоянно сохраняет добродушно-хитроватое выражение. Про него говорили: «не занозист», «можно ладить», «редко повышает голос», «мастер прилечь насмешливым словечком».

Покашливая в кулак, ощупывая меня оживленными, глубоко запавшими глазами, он входил в комнату, каждый раз весело удивлялся:

— Эге! У нас гость. Здравствуйте, Андрей Васильевич!

Он присаживался со мной у кровати и с не меньшим, чем дочь, интересом и удовольствием слушал разговор, иногда возражал:

— А позвольте, вот вы говорите, как распадается ядро...

И мы с шутливой беседы сворачивали на серьезную, персыншая свою речь словами: «ценная реакция», «радио-

активный распад», «идеализм», «материализм». Тогда Валентина Павловна поднималась:

— Пойдемте пить чай.

За столом почти каждый раз заводился спор о школе, о воспитании. Спорили обычно Ващенков и Валентина Павловна, я слушал.

— Ты рассматриваешь воспитание как какой-то толчок, — говорил он. — По-твоему, стоит в детстве правильно подтолкнуть ребенка, и вся его жизнь покатится по гладкой дорожке к нужной цели, без заскоков, без крутых поворотов.

— Но нельзя отрицать — такой толчок нужен!

— Как нужен первый толчок паровозу, трогающему с места состав. На одном толчке он далеко не уедет. Жизнь — это сплошное воспитание, так же как движение поезда — сплошные толчки вперед.

Иногда вечерами являлся райкомовский работник Кучин.

Васю Кучина я знал хорошо. Плечистый, с красной крепкой шеей, с простовато-открытым лицом, с которого никогда не сходило выражение откровенной жизнерадостности, какого-то счастливого избытка здоровья и неспокойных сил, он был из тех, кого, раз увидев, перекинувшись однажды словом, начинаешь считать добрым приятелем. Мы с ним встречались и по деловым вопросам, и в тесном кругу за стопкой водки, ездили даже как-то в компании на рыбалку. Помнится, на берегу, после того как вытащили невод, оба мокрые, пророгшие, мы схватились бороться. К великой моей досаде, Вася Кучин довольно легко положил меня на лопатки.

При Ващенкове он был необычно сдержан, но в спорах упрямо придерживался своей точки зрения.

— Воспитание, — говорил он, — звучит, конечно, благородно. Но ведь вы не даете ответа, за что его взять, как ущипнуть. Мне думается, что мы с вами, Петр Петрович, делаем то, что нужно. Все остальное от лукавого. Пять лет назад у нас колхозник получал на трудодень граммы, денег совсем не давали. Теперь хлеб есть, и денег подкидываем. А будет хлеб, будет мясо, масло, будут нарядные костюмы к празднику да еще свободное от работы время, тогда люди сами начнут воспитываться, к книгам потянутся, от икон отвернутся...

Чуть ли не доставая буйной шевелюрой до края широкого абажура, с массивными плечами, облитыми суконной гимнастеркой, Кучин возвышался над столом со

скромно и в то же время самоуверенно-победоносным видом. Валентина Павловна с пристальным любопытством разглядывала этого человека, который, не в пример ей, бодро смотрит вперед.

Но часто я проводил вечера один на один с Валентиной Павловной. Что-то было в наружности этой женщины изменчивое, ненадоевающее, каждый раз неуловимо новое. Выцветший ситцевый халатик выглядел на ней как нарядное платье, плотно облегая ее ладную, крепкую, с легкой полнотой фигуру. Движения ее были временами порывисты, временами вялы, словно заморожены. Глядя, как она бесшумно и легко двигается по комнате, я порой думал: не так уж она страдает от бесцельной жизни, разговоры о месте человека — просто умственная гимнастика, возбуждение нервов ради разнообразия, в общем, свыклась, чувствует себя превосходно. Но когда, запустив свою узкую руку в волосы, облокотившись на стол, она упиралась неподвижным взглядом в одну точку, когда на лице застыпало тоскливо-равнодушное, а одно плечо устало опадало вниз, я начинал верить — нет, не свыклась, безнадежно ждет поворота судьбы. И в эти минуты мне становилось ее жаль.

Однажды я прямо спросил ее, почему она не найдет работу. Она холодно ответила коротким вопросом:

— Какую?

— Любую. Все лучше, чем безделье.

— Любая не подойдет. Если б мне работа была нужна для того, чтобы обеспечить жизнь себе, дочери, мужу, тогда я бы работала на любой работе. Тогда был бы какой-то определенный смысл. Но сейчас и этот смысл у меня отнят. Я особенно не нуждаюсь. Каждый месяц муж вынимает из кармана деньги, их хватает. Поэтому хочу работать только на такой работе, когда чувствую, что не могу не заниматься ею. Обманывать себя, прятаться от скуки этой жизни за другую скуку неприятной работы бессмыслиценно. Как говорят: баш на баш менять...

Она говорила на этот раз спокойно, как о вопросе давным-давно решенном, по которому она уже в свое время высслушала достаточно досадных возражений.

Ее спокойствие меня возмутило:

— Вы, как бог Саваоф, собираетесь воскликнуть: «Да будет свет!» — не утруждая себя созданием светил, приносящих этот свет...

Она подняла брови, словно говоря: «Что же, послушаем еще одного».

— ...Можете вы полюбить, скажем, некоего Павла Столбцова? Живет такой на свете, могу дать подробнейшую рекомендацию. Нет, не можете. Заочно лишь экспансивные девицы в теноров влюбляются. Тем не менее вы ждете сначала любви к делу, чтобы приняться за него. Чем не заочная любовь? Не зная, не прощупав толком, в чем заключается соль работы, вы жаждете ее полюбить. Не бывает этого!

— У кого-то бывает.

— У кого-то! У тех счастливцев, у кого способности к чему-нибудь одному ярко выражены. У людей с талантом к математике ли, к живописи ли, к музыке эта любовь в самой природе. Ее даже не назовешь заочной. Большинство же людей на земле не имеют ярко выраженных наклонностей. Я, например, их не имел. Может, вы ждете, что они у вас вдруг появятся?.. Сложись у меня жизнь иначе, я бы, наверное, мог быть и агрономом и инженером-строителем не хуже, чем педагогом. Я случайно стал педагогом, не сразу — ой, нет! — через несколько лет по-настоящему почувствовал, что люблю свою работу. Теперь уж не представляю себя другим. Для таких, как мы с вами, один путь: сначала дело, проникновение в него, потом уже любовь к делу. Потом! А вы ждете, что на вас снизойдет благодать господня, озарит любовью. Не ждите — не озарит!..

Я говорил, не выбирая выражений, почти грубо, ждал — она или будет сердито возражать, или обидчиво замкнется в себе, отвернется от моих слов. Быть несчастливым по причинам, не зависящим от самого себя, все же легче, чем чувствовать себя виновником несчастий. Я же говорил: «Ты виновата, от тебя самой зависит устроить свою жизнь».

Но ни упреков, ни обид не последовало. Прежнее выражение обреченного спокойствия с ее лица смаялось, как смыывается дорожная пыль. И я понял: она услышала надежду в моих словах, запоздалую, далекую, неверную, обманчивую, но все же надежду. Не все кончено, еще можно что-то предпринять, приложить к чему-то усилия.

Отвернув порозовевшее лицо, она неуверенно взглянула:

— Вы проповедуете ни больше ни меньше как привычку к делу. А что, если предположить, что такому заурядному человеку, как я, скажем, может всерьез не понравиться дело? Или же заурядные люди настолько всеядны, что не имеют определенного вкуса, не могут выбирать?

— Я не против того, чтобы выбирать, я даже за то, чтобы ошибаться. Ошибки — тот же опыт. Я против, чтобы выбирать вслепую.

Валентина Павловна задумалась.

— Вы сказали, что попали в педагоги случайно? — заговорила она.

— Был неприятный момент — не знал, куда идти, что делать. Подвернулся подъезд пединститута. С таким же успехом мог подвернуться подъезд сельскохозяйственного или строительного института...

— Вам первое время не нравилось учить детей?

— Нет, этого не было. В общем, нравилось, но только в общем.

— Расскажите о себе поподробнее.

Я принялся рассказывать о своих потугах в живописи, о пединституте, о годах бездумья, покойных, ровных, по-своему счастливых годах. Рассказал о памятной воскресной прогулке, когда понял, что жить дальше, как я жил, нельзя, рассказал о первом удачном уроке.

Я рассказывал и впервые осознавал свое прошлое: оказывается, я уже не молод, часть жизни прожита, были заблуждения, много лет потеряно без особой пользы. Часть жизни прожита, но она вряд ли была моей лучшей частью. Я теперь вступил в зрелость, тут-то, наверное, и развернулся, насколько хватит сил. Тридцать три года за спиной, впереди лет двадцать — тридцать, а возможно, и все сорок — беспомощная старость не в счет. Это и много и мало. Много, потому что предстоит прожить больше половины сознательной жизни. Мало, потому что эти тридцать три года пролетели как-то незаметно, потому что до обидного куцый срок отмерен человеку на земле.

Валентина Павловна слушала, и ее внимание возвышало меня в своих глазах. Она слабей меня, она ищет в моих словах помощи — приятно сознавать себя сильным и уверенным. Если бы постоянно жил рядом с ней, то, пожалуй, мое плечо оказалось бы достаточно крепким, чтобы поддержать, чтоб вывести на путь этого запутавшегося человека.

— У вас есть товарищи? — неожиданно спросила она.

И я замялся:

— Товарищи-то есть... но больше для времязапропровождения.

Я вспомнил Василия Тихоновича Горбылева и добавил:

— В нашей школе все учителя по-своему одиноки.

— Вы ни с кем не переписываетесь?

— По работе? Нет.

Пока я рассказывал, начались ранние сумерки: посили окна, из щели под дверью, ведущей в комнату Ани; просачивался слабый свет. Валентина Павловна поднялась, щелкнула выключателем, пошла задергивать занавеси. Белая скатерть под абажуром ослепила меня.

— У меня есть друг,— сказала она от окна,— тоже учитель, только, наверное, много старше вас. Я его ни разу не видела в жизни. Как-то сделала ему одну услугу, и после этого мы вот уже четырнадцать лет переписываемся. Хотела бы я иметь рядом такого товарища...

Она подошла к столу, присела.

— Я ему о вас напишу...

Пора было идти домой.

Мы вместе зашли к Ане.

— До свидания, Аня. Выздоровливай,— сказал я.

Девочка при свете лампы, поставленной на стул, вышивала на маленьких пяльцах. Она положила на грудь пяльцы, подняла светлые ресницы, ответила ясным, отчетливым, покойным голосом:

— До свидания, Андрей Васильевич. Приходите, пожалуйста!

Сумерки еще не успели перейти в ночь. Сугробы, крыши, деревья, убранные в снег,— все было насыщенного, густого синего цвета, в котором кое-где покойно теплилось желтое освещенное окно. Морозный воздух ворвался мне в легкие, я расправил плечи, зашагал, с наслаждением слушая вкусное похрустывание снега под валенками.

Вспомнилось лицо Валентины Павловны — по-детски приоткрытый рот, доверчивый взгляд,— и меня снова охватило ощущение радостной силы, уверенности в себе. Она напоминает ребенка, а я — рядом с ней — взрослый, опытный, возмужалый! Я могу поддержать словом и советом.

Драгоценная способность зажигаться от порыва другого человека. Тоня, например, такой способностью не обладала: сколько ни говори, слова попадают словно в вату. А тут мое слово выбивало искру, вызывало волнение.

Черт возьми, я сегодня без причины очень нравлюсь себе, и меня это нисколько не смущает! Она хотела бы иметь рядом с собой хорошего товарища. Я могу быть таким товарищем — верным, крепким и небеспомощным!

С реки на крутой берег по обледенелой дороге поднимались сани, груженные мерзлыми кряжами дров. Пово-

зочный, мальчишка-подросток, упрытанный в просторный, не по росту полушибок, неуклюже суетился возле саней, свирепым голосом, в котором слышалось отчаяние, кричал на лошадь:

— Н-но! Дьявол!.. Н-но! Стерва ползучая!

А лошадь рвала в оглоблях, оскальзывалась и падала на колени.

— Что мне с тобой делать, проклятая?!

— Не кричи зря.

Я соскочил вниз, нашупав валенками твердое место, уперся плечом в концы кряжей.

— Подымай лошадь!.. Не спеши, не спеши... Так... Теперь давай!.. Давай! Да-авай!!

Лошадь вырвалась на гребень берега, вынесла тяжелые сани, а я, стряхнув с плеча приставший снег, двинулся дальше, от избытка сил подпрыгивая на каждом шагу, ощущая в теле волнующую игру мускулов, радуясь тому, что сумел помочь в маленькой беде неизвестному человеку, который не успел даже сказать спасибо.

22

Я стал ловить себя на том, что часто думаю о Валентине Павловне. В этом не было ничего необычного, ничего предосудительного. Так же я, наверное, думал о Феде Кочкине или Сереже Скворцове. Я увидел, что она нуждается в помощи, я сочувствовал ей, даже жалел, а жалость — первая ступенька к близости.

Я собирался снова навестить Валентину Павловну, просидеть с ней до сумерек, заглянуть к Ане, услышать на прощание ясный, отчетливый голос девочки: «Приходите, пожалуйста, Андрей Васильевич». Я не успел этого сделать.

В тот день я рано кончил свою работу в школе, ждал, когда Тоня кликнет с улицы Наташку и наша маленькая семья усядется за стол.

На пороге появился Акиндин Акиндинович. Его добре носатое лицо было красным, рассстроенным. Он сокрушенno высморкался в платок, спрятал его в карман и только после этого подавленно сообщил:

— Неприятная новость, Андрей Васильевич...

— Что такое?

— Аня-то Ващенкова... Не слыхали?

— Ну??

— Приказала долго жить.

Тоня охнула, выпавший из ее рук нож зазвенел на полу. Я поднялся.

— Только сейчас Анфису Колодкину встретил, сестру из больницы... Час назад приступ... Вот оно...

...Как всегда, во дворе дома Ващенковых весело гадали ребятишки, прыгали по очереди с крыши сараюшки в измятый сугроб. Даже смерть не могла нарушить этого бездумного детского веселья, как не нарушали его и строгие законы нашей школы.

В знакомой мне комнате с желтым абажуром и пасмурным пейзажем на стене валяло медикаментами, всюду следы суеты и тревоги: на стул в самом проходе брошено ватное полупальто Ващенкова, на ковровой дорожке мокрые следы ног, на диване какие-то скомканые простыни и резиновая кислородная подушка, а на обеденном столе микроскоп, детские пяльцы с неоконченной незамысловатой вышивкой, старая кукла в кудельных буклях — вещи, до которых каких-нибудь два часа назад касались руки Ани Ващенковой. Только один угол комнаты, письменный стол у окна, продолжал сохранять размеренный порядок жизни: аккуратной стопкой сложены книги, крышка чернильницы открыта, лежит наполовину исписанный лист бумаги, на нем костяная ручка. Наверное, последний приступ Ани оторвал мать от письма.

Никого, а в Аиной комнате слышатся приглушенные до шепота мужские голоса.

Я прислонился к дверному косяку, продолжая разглядывать микроскоп, куклу и пяльцы на обеденном столе под сенью желтого абажура. Только тут я как-то по-особому близко и болезненно ощутил, что из жизни ушел человек. Маленький человек со своим маленьким прошлым и неизведанным, неосмыслившим будущим. Старая кукла, раскинувшая на столе свои тряпичные руки, — ее прошлое. Сложный микроскоп — будущее этой девочки. Все теперь ни к чему. Заботы, учеба, мечты — ничего нет, пустота. Нет ни прошлого, ни будущего, нет человека! Аня Ващенкова, долговязая, нескладная девочка, неприметная ученица из моего класса, никогда больше не появится за партой. Никогда мой взгляд не остановится на ней, никогда не придется задумываться над тем, какой она станет через десять — двадцать лет. Из многих судеб, которые я теперь все ближе и ближе принимаю к сердцу, вычеркнута одна.

Дверь из Аиной комнаты приоткрылась, из нее бочком вылез известный всем в районе доктор Трецинов. Он

заметил меня, нахмурился, вздернул голову, выразил на бритом, в крупных складках лице величаво-оскорбленное выражение, словно заранее хотел решительно возразить на мои упреки: «Нечего глядеть так, я не бог. Я все сделал, что в моих силах».

В эту минуту за моей спиной раздалось шарканье валенок, появились две старушки, обе тую обмотаны в платки, обе кургузые, неповоротливые в своих многочисленных одеждах. Они загородили дорогу доктору; одна с вкрадчивой певучестью спросила:

— Хозяева-то где? Мы уговориться пришли: покойную-то обряжать нужно.

Врач Трещинов секунду-другую молча, непонимающе глядел на двух помощниц смерти, ничего не ответил, отстранил их рукой, быстрым шагом прошел мимо меня в переднюю и там, сосредоточенно посапывая, стал патягивать пальто.

Старушки потоптались на ковровой дорожке своими громоздкими валенками, повернулись ко мне, уставились вопросительно — обе ясноглазые, с румяными скулами:

— Оно кого же спросить? Ведь обряжать нужно...

Я уже за свой страх и риск собирался осторожно выпроводить старух, как тут шумно вошел Вася Кучин. Сразу стало как-то легче при виде этого краснолицего, рослого человека в добротном дубленом полушубке, внесшего с собой бодрый запах мороза и овчины.

— Уже здесь, слуги кладбищенские? — рокочущим шепотом спросил он старух.— Идите, красавицы, идите. Позвовем, когда нужно.

— Мы что?.. Мы ведь только уговориться...

— Сговоримся, придет время, сговоримся.

Он легонько вытолкал старух, повернулся ко мне, сдвинул на затылок шапку: «Вот дела-то какие...»

Дверь комнаты Ани распахнулась, преувеличенно решительной походкой, вытянув шею, незряче уставившись вперед, вышел Ващенков. Он шел на Кучина, но, заметив меня, круто повернулся. Веки его были красны, виски впали, набухший нос на осунувшемся лице выражал покорность и потерянность.

— Андрей Васильевич... — произнес он высоким голосом и сорвался, поспешно отвернулся от меня.

Кучин бережно обнял его за плечи, отвел в сторону, стал нашептывать:

— Сделано... Заказано... Порядок...

Из-за дубленого рукава полушубка, лежащего на плече,

чах Ващенкова, лысеющая голова покорно кивала каждому слову.

А я в это время в раскрытых дверях увидел неподвижно сидящую Валентину Павловну. Сидела она напряженно, глядела в мою сторону, но, должно быть, ничего не видела. У нее странно изменилось лицо: оно стало каким-то асимметричным — один глаз устало полуприкрыт, другой, округло-напряженный, глядит мимо меня, глядит и ничего не выражает. И мне стало не по себе, я шагнул к ней, шагнул и остановился... До меня ли ей? Что я смогу сказать, чем утешить?

— Андрей Васильевич, — обернулся ко мне Кучин, — попробуйте Валентину Павловну привести сюда. Оторвать бы ее на время надо...

Я вошел в Анину комнату. На смятой подушке, среди смятых простынь поднималось остроносое лицо девочки, еще не приобретшее восковой мертвенно бледности. Я наклонился к Валентине Павловне. Вблизи она еще сильней испугала меня: казалось, чья-то грубая рука варварски измяла прежде красивые черты.

— Валентина Павловна... — наклонился я к ней. — Валентина Павловна...

Она вздрогнула, повернулась ко мне, и из глаз — полу-прикрытоого и круглого — потекли слезы. Я беспомощно оглянулся на Ващенкова. Тот освободился из-под руки Кучина, все той же преувеличенно решительной походкой направился ко мне. Я ждал, что он что-то мне скажет, чем-то поможет, но он подошел, остановился, словно споткнувшись, замер, с дрожанием губ глядя в лицо дочери, медленно-медленно опустился на стул, низко склонил голову, обхватил ее руками.

— Их надо оставить в покое, — подавленно сказал я Кучину. — Выйдем отсюда.

В маленькой прихожей, где одна стена была увешана шубами и пальто, я вздохнул всей грудью. Мы с Кучиным спустились на деревянный диванчик возле узкого окна, на тот самый, на котором во время моего первого визита лежало чистое белье, принесенное с мороза Валентиной Павловной.

Молча закурили. Я испытывал гнетущее бессилие.

— Ничего, переживут. Все переживают, — вздохнул Кучин.

В это время раздался громкий стук в дверь.

— Должно быть, плотник, — произнес Кучин. — Входи!

— Но вошел не плотник, а девушка с почты.

— Бандероль заказная,— объяснила она, протягивая широкий пакет.

— В райком не смогла снести, курносая? — спросил Кучин.

— Так по адресу же...

— По адресу, по адресу... Ващенкову теперь не до чтения. Давай распишусь... Где тут?

Кучин расчеркнулся в книге, ворча под нос:

— Только бандероли теперь и читать Ващенкову.— Сорвал обертку, удивленно повертел перед собой замусоленную канцелярскую папку, открыл ее.— Что такое? — Выругался смущенно: — Ах, черт! Это же не Ващенкову, а Ващенковой! Валентине Павловне бандероль. Я-то думал: почему служебный пакет на дом?.. Снеси, Андрей, положи куда-нибудь...

Я взял папку, бросая взгляд на открытую дверь Аниной комнаты, на склоненную спину Ващенкова, прошел к письменному столу, единственному месту, хранившему прежний домашний уют, положил рядом с недописанным письмом.

Я вернулся к Кучину и забыл о папке.

23

В день похорон Ани Степан Артемович освободил от учебы всю школу. Класс за классом неровными, но чинными колоннами с венками из свежей хвои шли ученики через село. Венки нес наш класс. Вместе с нами шагал и Степан Артемович. Как всегда, он с чопорным достоинством держал свою голову в высокой котиковской шапке.

Низкое белесое небо висело над пухлыми, отягощенными снегом крышами. Шум сотен ног, обутых в валенки, среди мягких сугробов, обложивших стены домов, казался глухим, каким-то вороватым.

Я глядел в узкую, прямую спину Степана Артемовича, глядел и думал. Ведь он снял школу с занятий, торжественно повел ее на похороны не из жалости, не из-за мучений совести, не потому, что в нем зашевелилось какое-то ощущение собственной неправоты. Прямой, с высоко поднятой головой человека, которому нечего стыдиться и не перед кем прятать лицо, он вышагивает сейчас — глава парада, организованного им.

Вся коротенькая гражданская панихида на дальнем углу утопающего в снегу кладбища показалась мне не-

естественной, постыдно лживой. О девочке, прожившей каких-то тринадцать лет, ничего не сделавшей, не успевшей еще принести пользу людям, говорить в высокопарных выражениях! Почему бы просто, по-человечески ее не пожалеть? Почему бы прямо не сказать о том, что из миллионов человеческих жизней вычеркнута для будущего одна. Это само по себе тягостно. Не стало человека, у которого могла быть своя судьба. Смерть в детстве — слепая, вопиющая несправедливость! У любого и каждого она неизбежно вызовет в душе ответную боль. И нет нужды выдумывать достоинства, каких не было у Ани. Зачем оскорблять память девочки ложью?

А Степан Артемович?.. Когда Аня ходила в школу, он и не замечал ее, для него она была всего-навсего досадной единицей, снижающей успеваемость. Степан Артемович не сталкивался с Аней вплотную, как сталкивались с ней рядовые учителя, он ничего не знал о ее характере, о ее привычках. Но сейчас этот Степан Артемович стоит на насыпи перед всеми — седая голова обнажена, на лице суровая, мужественная печаль, а голос его скорбно приглушен. И этим скорбным голосом он извещает всех о том, что школа потеряла прекрасного товарища, что школа вместе с родителями глубоко переживает утрату, что память об Ане Ващенковой будет долго жить в стенах школы...

А молчаливые люди, столпившиеся у могилы, просто-душино верят каждому слову. Две женщины неподалеку от меня сокрушенно сморкаются в платки, смахивают варежками слезы со щек. Чем не трогательная картина — седой педагог прощается с прахом любимой ученицы?

От нашего класса выступала Соня Юрченко. Нахмурившись от смущения, она развернула заранее подготовленную бумажку и начала читать. И каждое слово, произнесенное ею, словно обдавало меня кипятком. Я упрекал Степана Артемовича, а сам... Ведь это я, классный руководитель, выбрал для выступления Соню Юрченко, я для Сони написал речь на бумажке, мои слова сейчас она громко читает:

— ...Будем вечно помнить нашу подругу. Спи спокойно, дорогая Аня!..

Степан Артемович был сдержаннее, он хоть сказал: «долго помнить», а я не пожалел вечности. Какое там — «вечно помнить»! Ребята жизнелюбивы, их жизнелюбие по-своему эгоистично, смерть Ани не изменит их жизни. Мне и в голову не приходило, что совершаю ложь!..

На себе я почувствовал чей-то косой пытливый взгляд.

Рядом стоял учитель физики Василий Тихонович Горбылев. Встретившись со мной взглядом, он отвернулся, его горбоносый, нервный профиль таил какую-то скрытую загадку. Он, наверное, понял мои терзания. До конца панихиды мы, стоя бок о бок, не обмолвились ни словом, даже не взглянули больше друг на друга.

Заснеженный пустырь, отделявший кладбище от окраины села, чернел спинами расходящегося народа.

— Прошу прощения, Андрей Васильевич. Не найдется ли у вас спички? — Горбылев стоял передо мной, протягивая пачку папирос, глядел из-под жестких, колючих ресниц.— Курите...

— Спасибо.

Прошелствовал Степан Артемович с водруженней на голову высокой шапкой. Мы проводили взглядами его узкую прямую спину, переглянулись. В темных, до минительности пытливых глазах Василия Тихоновича было нескрываемое любопытство.

— Вам сегодня что-то не нравится этот человек?

— Я сам себе сегодня не нравлюсь.

— Вы домой? Что, если нам пройтись вместе?

— Идемте.

И мы пошли к селу, косясь исподтишка, не находя темы для разговора, до сих пор лишь знакомые со стороны, чуждые и даже враждебные друг другу. Но в теплешнем молчании я чувствовал — между нами появилась обоюдная симпатия. У меня были в жизни друзья и знакомые, у Василия Тихоновича — тоже, хотя, наверное, меньше моего. Но я ни с кем из знакомых, если не считать последнего разговора с Валентиной Павловной, не мог поделиться своим сокровенным — своими сомнениями, своими поисками в одиночку, своими скромными успехами на уроках, не мог, должно быть, ни с кем поделиться и Василий Тихонович. Мы молчали, но, без сомнения, оба одинаково чувствовали значение этой минуты. Возможно, я для себя сейчас открою нового, неизвестного мне доселе Василия Горбылева, а Василий Горбылев — нового Андрея Бирюкова.

Я, по-видимому, был по своей натуре более общителен, чем мой спутник, поэтому заговорил первым:

— Вы угадали, когда спрашивали про Степана Артемовича. Но что там Степан Артемович... Я сам хорш... Степан Артемович фальшиво выступил, Соня Юрченко фальшиво прочитала по написанной мною бумажке. Стыдно и за себя и за Степана Артемовича. И странно, никто

не замечал лжи, все принимали ее как самое естественное. Что это? Привычка верить и не задумываться?

— Нет, не привычка, просто бездумно живем. Часто по своему бездумью не понимаем опасности. Вот уж воистину: блаженны нищие духом, не ведают они, чего творят...

Василий Тихонович шагал, вытянув шею из просторного воротника пальто, подавшись всем телом вперед. Я глядел на него сбоку и вспоминал слова доброго, со всеми уживающегося учителя математики Олега Владимиоровича: «Василий Тихонович не имеет трех измерений — это сплошной профиль, и тот весь из углов». Его словно прорвало, он говорил поспешно, многословно, как человек, долго размышлявший наедине и только сейчас дорвавшийся до собеседника.

— ...Мы в Загарье едим, спим, занимаемся обычными делами, мимоходом рассуждаем об атомных и водородных бомбах, о новых открытиях в науке. Иногда поражаемся, что человеческая мысль выросла до устрашающих размеров. Но задумываемся ли мы? Да нет, мы просто отмечаем для себя: то-то случилось, то-то изобретено... Не имеем права жить бездумно! Сейчас, как никогда, бездумье грозит катастрофой! Неизвестно, к чему приведет всесилье человеческой мысли. Быть может, научимся летать со скоростью света к звездам, строить искусственные планеты во вселенной. А может случиться, что человечество, открывшее тайну атома, уничтожит само себя, как некогда монах Шварц убил себя им же изобретенным порохом. Вы, наверное, помните слова Энгельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит...» За великие же победы возможна великая месть!

Он говорил, а вокруг нас дремотно раскинулась придавленная снегами окраина села. По сжатой сугробами улочке трусила запряженная в розвальни лохматая лошаденка. Из прокопченных труб успокаивающее тянулся дымок. На заборах, нахохлившись, сидели вороны. Не верилось в трагедию средь этого прочно обжитого, с печатью извечного покоя уголка земли.

Я возразил:

— Вы уноситесь куда-то очень высоко — в космос, а меня, признаться, волнуют только сугубо земные дела.

— Космос, земные дела... Между ними уже нет пропасти. Последние работы Жолио-Кюри или Ландау и дела нашей Загарьевской десятилетки связаны между собой. Физик Ландау делает сегодня свои открытия, а пользо-

ваться-то ими станут они, наши ученики — Кости Коробовы, Сени Кузнецова, Сони Юрченки. Они должны знать не только секреты науки от закона Архимеда до новейших формул Ландау, но обладать еще сверхвысокими человеческими качествами: будь то честность, доверие друг к другу, способность к творчеству. Во имя процветания жизни на нашей планете будущие люди должны иметь чистую совесть и светлые головы. И в этом ответственны я, вы, Степан Артемович. Я знаю, что вы чего-то ищете, как-то хотите отойти от канонов Степана Артемовича. Я тоже который уже год ворочаюсь в одиночку. Это кустарщина! Надо сообща бить тревогу! Сообща поднять бунт против благодушного бездумья! И в первую очередь в школе, где готовятся люди, которые завтра станут хозяевами жизни.

— Что вы предлагаете? — спросил я.

— Что?.. — Василий Тихонович вдруг усмехнулся. — Кроме своего личного возмущения, ничего пока не могу предложить. — Он протянул руку. — Я рад, что мы разговорились...

Ладонь его была твердая, сухая и горячая. Это было наше первое рукопожатие за все годы сотрудничества в загарьевской десятилетке.

Тоня тоже присутствовала на похоронах, даже всплакнула там. Сейчас она озабоченно накрывала на стол. В нашей чистенькой комнате, заполненной через полузамерзшие окна снежным мягким светом, пело и воодушевленно ораторствовало радио.

Усевшись за стол, сложив руки на скатерти, я невольно слушал бодрый голос из репродуктора:

Строю я теперь плотину
Над великою рекой.
Рою землю я машиной,
А не старою киркой...

Я слушал и думал о Горбылеве. Меня не слишком-то волнуют предсказания катастрофы на нашей планете. Я не верю в это уже только потому, что люди догадываются об опасности. Раз догадываются, пусть тяжелой ценой, но сумеют ее предотвратить. Меня волнует вообще жизнь людей, обычная, повседневная, с будничными интересами.

Мы теперь не ищем кладов
По оврагам и горам,
А работаем, как надо,
Как велит отчизна нам...

И в словах и в беззаботном голосе я чувствую сплошное бездумье: все трын-трава, о чём задумываться — жизнь ясна, жить просто!

А разве так уж просто жить мне или тому же Горбылеву? Любая человеческая жизнь сложна, тем более жизнь тех, кто впереди других нащупывает дорогу. А все мы идем не по проторенному пути.

Тот, кто кричит о ясности и простоте, обманывает людей, усыпляет их разум. Старая истина, не мной первым сказана.

24

В сорок третьем году у речонки Разумной, про которую солдаты говорили: «Переплюнуть можно, а перейти нельзя», — мы шли в атаку за атакой с болотистого берега на высокий, известковый. Нас расстреливали в упор с прямой паводки. Живые лежали вповалку с мертвыми, по ночам хриплые стоны тяжелораненых ни на минуту не прекращались на нашем болотистом плацдарме. Наши трупы завалили худосочную речонку, и она вышла из берегов. А какой-нибудь месяц спустя грузовик эвакогоспиталя вместе с другими ранеными спустил меня по высокому берегу к речке Разумной. Шофер остановился у моста и выскочил с ведром, чтоб долить воды в радиатор. Мне помогли приподняться, и через борт кузова я смог разглядеть памятное и страшное место. Страшное... Тут полегло много сотен людей, тут были убиты мои товарищи: Сеня Горохов, Женя Смирнов, Рубен Оганян. А я увидел идиллию: новенький, сияющий свежей желтизной добротных перил мост; на нем, спустив к воде ноги, сидят ребяташки с удочками; больно рябит солнце в речке; спокойно лежат кувшиночные листья в камышовых заводях — никаких следов кровавой трагедии, даже воронки от снарядов затянула болотистая почва левого берега. Помню, меня это потрясло. Жизнь прячет следы несчастий, и если память о них свежа, это кажется обидным, почти недопустимым.

В комнате с желтым абажуром и пасмурным пейзажем на стене все приняло прежний вид: обеденный стол накрыт свежей скатертью, исчезли куда-то микроскоп, кукла и пяльцы, пол чисто вымыт, каждый стул стоит на своем месте. Все выглядит по-прежнему, но сам я чувствую себя здесь по-новому, никак не могу забыть, что соседняя комната пуста. Ващенков это чувствует, должно быть, намного

го острее меня. Он, чисто выбритый, в отглаженной сорочке, с запавшими сильнее обычного глазами ходит с сосредоточенным видом от стены к стене и, проходя мимо двери Аниной комнаты, трогает ручку, словно старается плотней прикрыть дверь.

Сама хозяйка изменилась. Черты вновь правильного, но бледного, похудевшего лица стали четче, определенней и холодней. Она даже кажется тощше и выше в темно-синем, строгом платье. Я застал ее в тот момент, когда она собиралась выйти из дома, уже держала в руках шарф и перчатки. Между ней и мужем происходил какой-то разговор, прервавшийся с моим приходом.

— Вы были правы, Андрей Васильевич,— объявила Валентина Павловна,— под лежач камень вода не течет. Я не должна сидеть сложа руки и ждать, как вы тогда выразились, когда осенит любовь свыше. Нужно идти на встречу делу, въедаться в работу.

Голос Валентины Павловны, как и ее вид, был подчеркнуто холодный и в то же время напряженно решительный.

— Но в какую работу? — перебил ее Ващенков.

— Ту, которая мне всего знакомей. Я, Андрей Васильевич, оформляюсь ответственным секретарем в редакцию районной газеты.

— К Клешневу,— многозначительно добавил Ващенков, проходя мимо двери, опять сосредоточенно потрогав ручку.

— Да, Клешнев скучен! Да, у него бесцветная газета! Да, он убил все живое! Да, работать с ним будет не весело! Я все это знаю и тем не менее иду! — Валентина Павловна с вызовом посмотрела на нас обоих.— Что мне еще делать? Подскажите другое, готова за все схватиться.

Я молчал. Ващенков пожал плечами.

— Очередная вскидка, Валя,— сказал он мягко.— Тебе не понравилась работа в областной газете, а ведь там поживей люди действовали, чем этот Клешнев. Опять кончится ничем.

— Там я была неприметным работником. И что требовать от девчонки? Теперь я зрелый человек, еще посмотрим, кто кого — Клешнев меня или я Клешнева. Вдруг да вопреки клешневской инертности сумею сделать газету интересной...

Ващенков с сомнением покачал головой.

— Я секретарь райкома, Клешнев на меня смотрит

как на бога, но даже я бессилен перед ним. Легче сдвинуть с места тяжелый камень, чем ком теста. Ему говоришь, чтобы нашел живой материал о жизни рабочих на лесопунктах. Он обещает, он никогда не возразит, не скажет «нет». Материал появляется: «В борьбе за производственные показатели...» Перечисляются фамилии, ни одного свежего факта, ни слова живого. Нельзя винить горбатого, что не имеет стройной осанки, нельзя спрашивать с Клешнева больше того, на что он способен...

— А я спрашивать с него не буду. Я стану действовать, как смогу. Думается, что смогу больше, чем Клешнев.

— Не ты, а он тебе станет указывать, его утвердили во всех инстанциях ответственным редактором, он отвечает за газету. Поэтому он тебе шагу не даст ступить самостоятельно.

— Поживем — увидим.

Я молчу, не вступаю в спор. Я целиком на стороне Валентины Павловны: надо же ей в конце концов выбираться, надо действовать, в самом деле — под лежач камень вода не течет. Но мне почему-то грустно видеть у нее решительное настроение. Она не нуждается в моем сочувствии, нет повода ее жалеть, а именно жалость-то меня и сближала с ней.

Она подходит к письменному столу, вынимает из-под книг уже знакомую мне потертую папку, протягивает:

— Кстати, Андрей Васильевич, чтоб не забыть... Помните, я говорила вам о моем друге-учителе? Я написала ему о вас, и он ответил не только письмом — прислал эту работу.

Я взял папку.

— Это его работа? — спросил я.

— Нет. Автор живет в Москве. Кандидат педагогических наук, некий Ткаченко. Моему знакомому эта рукопись попала через третью руки. Он отзывается о ней как-то осторожно... Я ее тоже просмотрела... Впрочем, прочитаете. Для педагога, мне кажется, будет небезинтересно...

Последние слова она произнесла торопливо. Она словно хотела сказать мне: «Есть ваши интересы, Андрей Васильевич, но есть и мои. Рада вам помочь, но мое собственное мне дороже, поэтому разбирайтесь сами, а я ухожу, я спешу».

Валентина Павловна быстро и ловко натянула на волосы вязаную шапочку с пушистым помпоном, кивнула

мне на прощание. И пушистый помпон, когда она своей напористой походкой — голова приподнята, грудь вперед — шла к двери, торчал вызывающее, почти воинственно.

Она ушла, я вертел в руках панку...

Вашценков последний раз приоткрыл дверь в Анину комнату, снова ее старательно захлопнул, принялся натягивать пиджак.

— Мне тоже надо идти. Нам вроде по дороге, Андрей Васильевич?

25

В коротком полупальто, выступая негнущимся, журавлинным шагом, ссугулив спину, глубоко засунув руки в карманы, Вашценков сосредоточенно молчал, углубленный в свои мысли.

Я спросил:

— Петр Петрович, почему вы отговариваете Валентину Павловну? Сейчас ей просто нельзя оставаться наедине с собой, и то, что она решилась устраиваться на работу, мне кажется, лучший выход.

Не поворачивая головы, по-прежнему уставясь под ноги, Вашценков не сразу заговорил:

— Если б такой порыв у нее случился впервые, то я всей бы душой его приветствовал. Но вся беда, что я уже научен горьким опытом.

— Она пробовала устраиваться на работу?

— В том-то и дело — неоднократно. Вскинется, загорится, бросится на первое, что подвернется под руку, а потом... Потом ей кажется, что она совершенно уже ни к чему не пригодна, что все кончено, жизнь несносна, она окончательно погибший человек. Тогда еще Аня была... А теперь... Чем все это кончится?..

Вашценков еще больше ссугулился.

— Но что-то надо делать? Ей нельзя жить, как жила, — возразил я.

— Ах, Андрей Васильевич, я четырнадцать лет живу рядом с ней и все четырнадцать лет решаю этот проклятый вопрос... Слишком высокие требования...

— Но вся жизнь может пройти в неудачах. Пора уравновесить свои требования и свои способности.

— А вы их уравновесили? — живо откликнулся Вашценков. — Вы всем довольны, всего достигли? Вам уже нечего желать больше?

Я замялся: доволен ли? Нет, и неизвестно, буду ли доволен. Чем дальше в лес, тем больше дров,— я давно уже понял это.

— Вы правы, но...

— Хотите сказать, что вы что-то сделали, чего-то добились, недовольны совершенным, но стремитесь совершить больше, а ее недовольство пустопорожнее. Не так ли?.. Но и на ее счету имеются свои человеческие заслуги. Папку, которую вы держите сейчас в руках, прислали человек, который вот уже много лет сохраняет к ней чувство благодарности.

— Петр Петрович, я не сомневаюсь в высоких человеческих качествах Валентины Павловны.

— Одно дело — качества, другое — заслуги. Некий Лещев попал на страницы областной газеты. Крошечный фельетончик, такой, что можно прикрыть ладонью, крестнакрест перечеркивал жизнь человека, уже пожилого, обремененного семьей. Лещев написал письмо, где доказывал свою невиновность. По счастливой случайности оно попало в руки молоденькой сотрудницы Вали Валуевой. Она бросилась к главному редактору. Тот должен был или признаться публично в грубой ошибке газеты, или же сделать вид, что ничего не случилось. Признаться в ошибке — значит запятнать авторитет. Кислая гримаса, легкое движение руки, отодвигающее на край стола бумагу,— все это так легко, намного легче, чем нажать спусковой крючок у винтовки...

Засунув руки в карманы, глядя себе под ноги, Ващенков некоторое время молча вышагивал.

— Она, размахивая письмом, стала стучаться во все двери,— продолжал он, не поднимая головы.— Я работал тогда в обкоме. В один из прекрасных дней она предстала передо мной. До сих пор не пойму, какой силой эта девчонка мне доказала, что равнодушные — самое позорное преступление. Я почувствовал, что я честен по своей натуре, что я добр... Да, и добр!.. Доброта... Мы как-то забыли это слово в своем первозданном значении. Оно нам кажется сентиментальным, филистерски ограниченным. Добрый, добреный — в наших устах стало почти ругательством. Суровая эпоха не должна быть оправданием черствости. Все лучшее, что сделано в истории человечества, сделано из любви к людям, настоящим и будущим!.. Ну, это уж философия...

Ващенков вдруг круто повернулся ко мне, бросил взгляд из-под надвинутой шапки:

— Вы слыхали, чтобы обо мне плохо отзывались в райкоме?

— Нет,— ответил я.

— Если я по возможности отстаиваю правду, если я от районных партработников постоянно требую: доверяйте людям, не отмахивайтесь от самых малейших просьб, вникайте не только официально, но и по совести,— в этом, честное слово, есть какая-то заслуга Валентины.

Мы остановились перед райкомом. Ващенков пожал мне руку — сутуловатый, в шапке, надвинутой на глаза, длинными негнувшимися ногами зашагал к подъезду. Уже в дверях он обернулся и громко сказал:

— Не обвиняйте меня в беспомощности. Любой на моем месте не сумел бы сделать больше.

А ведь он угадал. Я до сих пор в душе упрекал Ващенкова, как это он, так крепко стоящий в жизни, не может помочь самому близкому человеку?

26

Вечером, после чая я улегся в своей комнате, раскрыл папку, взял рукопись и стал читать.

Представьте себе, что вы идете по городской улице, безразлично глядите на прохожих и вдруг замечаете кого-то очень знакомого и в то же время чем-то чудного, не-привычного для вас. На долю секунды вы чувствуете легкое недоумение, замешательство, и только после этого догадываетесь, что среди толпы, среди равнодушных прохожих видите свое отражение в зеркальной витрине. Знакомый и в то же время непривычный человек оказывается вашей собственной персоной.

Нечто подобное испытал я, когда проглотил первые страницы рукописи.

Нисколько не заботясь о красочности и образности своего изложения, сухо и деловито, как и подобает автору сугубо научной работы, неизвестный мне Ткаченко начиндал издалека: бич учебы — пассивность ученика, урок в одинаковой мере должен служить и для обучения, и для воспитания ценных человеческих качеств.

Все верно, но я учитель-практик, и практические советы для меня дороже высокопарных теоретических рассуждений, как лесорубу нужней удобная электропила, чем лекция о пользе электричества в лесоразработках.

Ткаченко заговорил о приемах. Среди педагогических приемов существует один, который можно условно назвать

«организованным диалогом». Учитель как бы ведет разговор с классом.

Ага, Ткаченко придумал не слишком ласкающий слух ученый термин — «организованный диалог», я же называл это как придется, чаще простым словом — беседа.

Дальше... Что, если учитель организует такой диалог между учениками? Скажем, два ученика получают разработанные вопросы...

Я на минуту оторвался от рукописи. Все-таки странно: в тот вечер, когда я сидел у себя за столом и сочинял пьесу с двумя действующими лицами на тему о придаточных предложениях времени, сочинял для того, чтобы после уроков мои ученики Сережка Скворцов и Федя Кочкин разыгрывали ее, я самонадеянно считал: моя находка, мое открытие, никто до меня еще не писал таких странных пьес. Пожалуй, это уже не зеркало витрины, отражающее мои мысли, мои сомнения, это похоже на встречу с двойником.

Я снова принялся за рукопись — и стоп! — чуть не подпрыгнул от удивления. Что же предлагает Ткаченко?! Оставив одну, две пары специально подобранных учеников после уроков, заниматься, как это делал я?.. Нет! Он советует перенести свой «оргдиалог» *прямо на урок, и все ученики без исключения должны им заниматься!*

Я сразу же представил себе свой класс: выражение бесмысленной младенческой наивности на лице Лени Бабина, бесстрастное равнодушие, скрывающее настороженную хитрость, Паши Аникина, Галю Субботину с апатично отвисшей розовой губкой, Сережу Скворцова, Федю Кочкина, Соню Юрченко...

Да, все разные лица, разные характеры, разные способности!

Ткаченко говорит: можно сделать так, что весь класс будет учить одного ученика и один всех.

Ой ли?.. Утопия.

В классе пятнадцать — двадцать пар. Каждая пара беседует между собой, все они работают над одним и тем же материалом. Одна пара кончила работу, в это время где-то в противоположном конце класса другая пара также пришла к решению — вроде все, говорить больше не о чем. Что, если заставить учеников пересесть: из первой пары один — во вторую, из второй — в первую? Создаются две новые пары, с новыми знаниями, с желанием прощупать: а как подготовлен новый сосед?

Разные характеры в классе, разные по способностям

ученики по-разному воспринимают материал; у одних более живое воображение, они все представляют в образах; у других сильней развита механическая память, быстрей запоминают формулировки и выводы; трети обладают врожденной способностью к анализу и обобщениям... Разные характеры, разные способности приходят в общение друг с другом. В течение урока один ученик может встретиться с двумя, с тремя или, смотря по обстоятельствам, с большим числом товарищей. Неизвестно, с кем столкнет судьба, скажем, Пашу Аникина,— может, с Сережей Скворцовым, а может, с Леной Бабиным. Сережа Скворцов более развит, быстрей схватывает, чем Паша. Аникину волей-неволей придется у него учиться. На какое-то время Сережа становится как бы учителем, а Паша его учеником. Но вот после этого Паша сходится с Леной Бабиным. Тут уж по быстроте сообразительности Лене Бабину не сравниться с Аникиным. Паша учитель, Леня учится у него! И то, что Паша Аникин, сам по себе ученик со средними способностями, со средним запасом знаний, должен втолковывать туповатому Бабину, шевелить его вялую натуру, полезно самому Павлу, быть может, даже больше, чем Лене. Недаром говорит русская пословица: «Учи других — сам поймешь».

Разные характеры, разные способности!.. Любой из твоих товарищ по классу может стать и твоим учителем и твоим учеником. Все ребята учат одного, один — всех.

Ткаченко предлагает целую систему проверки: оценки, которые должны ставить ученики друг другу, «ассистенты-контролеры» при учителе из лучших учеников — все к тому, чтобы с любого и каждого можно было спросить: «Ты отвечаешь не только за свои знания, но и за знания своих товарищей!»

Активность...

Самостоятельность...

Коллективизм...

Я отложил в сторону рукопись.

27

Была поздняя ночь. Наш дом спал. За полузамерзшим окном, небрежно задернутым легкой занавеской, спало село. Только возле почтового гаражка с сердитым усердием рычал грузовик. Кто-то из шоферов уже поднялся с теплой постели, чтоб по раскатанной зимней дороге ехать к

пятичасовому поезду. Приглушенное двойными зимними рамами рычание грузовика, разогревающего свой мотор,— первая весточка наступающего дня.

Я взял в руки рукопись: подслеповатый шрифт третьего или четвертого экземпляра с машинки, поправки химическими чернилами... Чья рука делала эти поправки? Рука самого Ткаченко, рука Лещева или еще чья-нибудь?.. Почему такая работа не напечатана? Не знаменательно ли это?.. Я теперь читаю почти все педагогические журналы, проглядываю методические письма, роюсь в брошюрах. Я не мог пропустить, не мог не заметить. Ни отзыва в печати, ни намека, что такая работа существует на свете. Хотя можно, пожалуй, объяснить, почему эта рукопись не появилась в печати. Я практик, я часто не удовлетворен тем, как учу детей и как их воспитываю, в последние годы я все время искал, я даже без помощи Ткаченко пришел к тому, что он называет «оргдиалогом», но даже меня сейчас пугает его работа. А те люди, что сидят в журналах, не так прочно связаны со школой, как я, им не приходится каждый день проводить уроки, их обязанность, их профессия — печатать статьи. Вполне возможно, что при виде такой необычной рукописи они отмахиваются обеими руками. Мне ли не знать, что пынешняя педагогическая литература не отличается особой дерзостью.

Я сел за стол, положил перед собой рукопись, закурил, снова стал листать, проглядывая уже знакомые мне страницы.

Когда я говорю об образе Тараса Бульбы, мне не так уж важно, чтоб мои ученики запомнили казенное определение из учебника: «В образе Тараса Бульбы Гоголь хотел выразить то-то и то-то». Для меня куда важней заставить полюбить произведение. Ткачеко предлагает дать ученикам самостоятельность. Но разве может неопытный детский ум самостоятельно проникнуть в сущность материала? Они обязательно пойдут по линии наименьшего сопротивления — заучат готовую формулировку и отрапортуют ее во время ответа. Ткаченко грабит мое творчество, через меня грабит учеников.

Да, но я забываю о своих возможностях. Если бы предоставил Сереже Скворцову учить правилам грамматики Федю Кочкина так, как он хочет, как умеет, то можно не сомневаться — скучна и неинтересна была бы такая учеба. Но ведь я не допустил этого, я заставил Сережку пойти к материалу, как я бы сам подходил. Я передал

Сереже частицу своего педагогического творчества. Смог передать одному Сереже, то почему бы не попытаться передать и многим? Трудно?.. Да! Но я и не стремился никогда легко зарабатывать себе хлеб насущный. Во всяком случае, не имею право говорить, что Ткаченко грабит мое творчество. Он предлагает новый путь, никем не исхоженный, не проверенный, весьма сомнительный. Кто-то должен решиться, кому-то нужно проверить...

Я отодвинул рукопись, встал из-за стола, распахнул во всю ширь форточки в обеих рамках. Морозный, свежий до едкости, как запах настоящей браги, воздух ворвался в накуренную комнату. Вместе с этим воздухом влетело отчетливое, напористое рычание разогреваемого мотора на почтовом грузовике. И это был единственный звук в сплошной тишине.

Пока еще ночь, пока спит село. За спиной у меня, за дощатой перегородкой, спят Наташка и Топя, храпит в кухне бабка Настасья. За бревенчатой стеной спит Акиндин Акиндинович со своей Альбертиной Михайловной. Но скоро, должно быть, завозится, застучит. Хлопотливый, как пчела, он всегда встает затемно. На соседней улице в небольшом, утонувшем в заснеженных кустах домишке почивает Степан Артемович. Чуток ли его сон или не по-стариковски крепок — не знаю. Для нас, учителей, личная жизнь директора покрыта мраком. На другом конце села спит и, почему-то мне думается, беспокойно ворочается во сне Василий Тихонович, с которым только-только завязывается у меня узелок дружбы. В разных концах по всему селу спят безмятежным детским сном мои ученики.

Спит и Валентина Павловна. И, кажется, утром у нее начнется первый трудовой день. Да будет счастливо это начало!

Надо и мне прилечь, заснуть хотя бы часа на два, на три, вместе со всеми проснуться, вместе со всеми начать свое завтра. Каким оно будет — скучно-привычным или загадочно-новым? Что оно принесет — горечения или радости? Каким бы ни было, мне сейчас хочется скорей попасть прямо в утро. Обидно терять время на сон, на бездеятельность. Я, наверно, оптимист по натуре — всегда жду лучшего от будущего, и оно меня тянет к себе.

Часть третья

Природа не оделила меня особым талантом. Я, самый заурядный из заурядных, увы, не сотворю своими руками ничего такого, что умилило бы потомков. Но надеюсь, что руками моих учеников будут совершаться великие дела на земле. В их всемогущем господстве будет и моя скромная доля. Я уже сейчас по мере сил и возможностей пытаюсь вносить ее авансом.

Сережа Скворцов, Федя Кочкин, Соня Юрченко — мои ученики! Не хочу, чтоб вы подвели меня! Не хочу, чтоб вашими руками творилось на свете зло.

На уроках я старался выглядеть беспристрастным, делал вид, что все ученики без исключения для меня одинаковы, ни к кому не чувствую ни особых симпатий, ни антипатий. Но в глубине души я к ним относился по-разному: кого-то уважал, кого-то порицал, кого-то по-настоящему любил, снисходительно прощал недостатки.

Одним из тех, к кому я испытывал такое тайное расположение, был Федя Кочкин.

Помнится, в первый же день, как только Кочкин появился в нашей школе, сразу же обратил на себя внимание.

Шла большая перемена. Стоял солнечный день первого сентября. Ученики высыпали во двор к спортивному городку, как раз напротив окон учительской. При каждой школе стоит такой городок — высоко поднятое над землей бревно-перекладина, к которому подвешены кольца, шесты и канат для лазанья. Неожиданно все учителя с возгласами возмущения и испуга бросились к окну. По бревну-перекладине, вознесенному выше второго этажа, шел мальчуган в выгоревшей рубахе, один из новеньких,

что принят в пятый класс из начальной школы. Стоило ему отступиться, и он грохнулся бы на утоптанную землю, а это если не смерть, то тяжелоеувечье. Мы, учителя, стояли у окна — мужчины качали головами, женщины вскрикивали. А мальчуган спокойно прошел до конца, повернулся, осторожно, расчетливо ступая, двинулся обратно, благополучно добрался до лестницы, спустился вниз. Ребята во дворе восторженно кричали. Из своего кабинета появился Степан Артемович.

— Видели героя? Ну-ка, вызовите его ко мне.

Так Федя Кочкин заявил о себе.

А через несколько дней он снова отличился, па этот раз в драке. Восьмиклассник Всеволод Пшеников, из великовозрастных, из тех, у кого уже начинает пробиваться пушок на верхней губе, прибежал однажды к двери учительской с окровавленной головой. Кто ударил? Кочкин. Как? Он же на голову ниже...

Федю вызвали в учительскую, стали допрашивать: за что ударил? Оказывается, за дело. Из печной трубы Пшеников выпнул закопченную заслонку (взбрело же такое в голову!), ради развлечения хватал малышей и заставлял их прикладываться к ней, от души веселясь на измазанные сажей физиономии. Того, кто упирался, Пшеников хватал за шиворот и прикладывал силой. Под руку подвернулся Федя Кочкин. Он безропотно взял заслонку, привстал на цыпочки, и... через минуту незадачливый шутник бежал по коридору, держась за пробитую голову. Я, признаюсь, застучился перед Степаном Артемовичем за Федю, хотя и осуждал слишком вольное обращение с тяжелым предметом — заслонка была чугунная.

Федя ходил с легкой раскачкой, ворот рубахи па груди постоянно распахнут, на скуластом лице спокойно-властное выражение, говорит скрупо. Что-то было взрослое в этом мальчишке, сдержанное не по возрасту. Он никогда не нарушал на уроках тишины, не устраивал безобидных шалостей — стрельнуть жеваной бумагой в соседа, повесить на спину товарища записку с надписью «Я дурак» — или что-нибудь в этом роде. Скучные уроки Федя переносил мужественно, как бы застывал в неподвижности, глядя перед собой невидящим взглядом. Большинство учителей отзывалось о нем кратко и нелестно: «Лентяй». У меня же в последнее время Федя учился не плохо, на уроках не мечтал, а слушал, сдружился с Сережей Скворцовским. И Сереже льстила такая дружба с уважаемым в ребячьей среде заводилой.

И вот я начал проводить уроки по-новому.

Требования к ученику на обычном уроке просты до примитива, их преподносят школьнику в первый час первого дня учебы. Руки положите на парту, сидите не сутулясь, если что непонятно или хотите ответить, поднимите руку, а главное — слушайте внимательно, старайтесь не пропустить ни одного слова учителя.

Новый же способ учебы имел свои особые правила, свои законы, которым нужно было обучить, как обучают начинающих правилам игры в шахматы.

Класс, стоящие рядами парты, на каждой парте — два ученика. Кажется, не трудно усвоить: беседуйте с соседом, спрашивайте, отвечайте, поставьте друг другу отметку, потом поднимите руку, чтобы все видели — вы кончили, пора меняться местами. Вроде все просто, но сколько на первых порах недоразумений.

— Андрей Васильевич, Субботина отвечать не хочет!

— Андрей Васильевич, а какую отметку ставить?

— Андрей Васильевич, я не хочу с Аникиным садиться, он драться будет...

Со всех сторон только и слышно: «Андрей Васильевич! Андрей Васильевич!» Я выясняю вопросы, налаживаю порядок, терпеливо жду, что кто-то наконец вызовется отвечать, и я пойму: провалилась ли моя новая затея или же есть надежды на успех. Кто же будет отвечать первым? Разумеется, кто-то из отличников, скорей всего самый сообразительный — Сережа Скворцов. Но ответ Сережи не показателен, надо самому вызвать наугад кого-то из средних.

Еще один голос окликнет меня:

— Андрей Васильевич!

— Что тебе, Кочкин?

— Хочу отвечать.— Он поднялся за партой с темной челкой на насупленном лбу, с угрюмовато-спокойным взглядом исподлобья.

Я как-то среди общих суматохи не заметил: Федя Кочкин не терял, как многие, без толку время, он сразу же понял, что требуется от него, какие правила в этой новой игре.

— Три встречи сделал: с Аникиным, с Хлебниковым Васей и вот с Капустиной...

Шум в классе стих, все головы повернулись в его сторону, а он, как всегда, спокоен, уверен в себе, со скуластого лица открыто, безбоязненно, требовательно глядят

на меня рыжеватые глаза. Наверное, не один он из класса подготовился, но выжидают в нерешительности. Федя Кочкин самый решительный.

— Иди ко мне,— произнес я.— А все остальные продолжайте работу. Юрченко, проследи, чтоб работали, пока я буду занят.

И то, что кто-то уже вызвался отвечать, то, что я занят, меня теперь неудобно отрывать по каждому пустяку, повлияло на класс: бестолковые вопросы прекратились, беспорядочный шум стал каким-то организованным, ребята деловито поднимались со своих мест, шли пересаживаться — установилась рабочая атмосфера.

А Федя Кочкин, склонившись к моему столу, вполголоса отвечал. Когда он кончил, я поднялся и провозгласил:

— Минуточку внимания!.. Кочкин ответил весь материал правильно. Ставлю ему «пять»!..

— Я хочу отвечать! Я! — Со всех сторон потянулись руки.

— Кочкина назначаю своим ассистентом. Прежде чем ответить мне, надо ответить ему. Ты, кажется, хочешь отвечать, Скворцов? Кочкин, займись им.

Я опустился на стул, сделав вид, что не случилось ничего особенного, все идет как нужно.

Сережа Скворцов с настороженно бегающими глазами поднялся из-за парты, неуверенно подошел к Феде. Тот приподнимает плечи, подбирается, ест глазами Сережу, глуховато приказывает:

— Ну!

Сережка начинает отвечать, но Кочкин покровительственно и властно перебивает:

— Не кричи так. Не классу же отвечаешь...

Сережа снизил голос до шепота.

Не поднимая головы, я слушаю шум класса. Он, этот шум, теперь какой-то клокочущий, сдержанный — бурлит класс, переваривает знания... Недоставало лишь маленького толчка, чтоб все наладилось. Этот толчок сделал Федя Кочкин, я благодарен ему.

Какого труда стоила мне эта минута!..

Если авиационному заводу нужно освоить новый тип самолета, то, прежде чем рабочие станут к станкам и начнут вытачивать деталь за деталью, ведется напряженная подготовительная работа: заново рассчитывается технология, преобразуются цехи, меняется оборудование. Новый самолет существует только в чертежах и схемах, с бумаги

его необходимо воплотить в дюраль, из мысли превратить в нечто материальное.

Рукопись Ткаченко для меня была ни больше ни меньше как схемой, к тому же весьма мало разработанной.

Сколько вечеров и даже бессонных ночей провел я в расчетах и разработке! Сколько было исписано бумаги! Как только я не перекраивал материал, какие проекты карточек с вопросами не составлял! Составлял и отвергал, снова составлял... Сколько сил положено на то, чтоб ребята не просто набрасывались на зебрежку параграфов из учебника, а задавали бы друг другу неожиданные загадки, ломали сообща головы над ответами!

Класс заполнен приглушенными голосами, голоса переплетаются, сливаются, создают впечатление напряженного клокотания. Этот клокочущий шум — мой труд, мои вечера, мои бессонные ночи в накуренной комнате. Карточки — кусочки ватмана с вопросами — заставляют думать, спорить, сомневаться, выяснять, рыться в учебниках, обращаться к соседу за помощью. Это поиски, это родственно творчеству! А я — творец такого творчества, как мне не быть гордым!

Но это лишь начало. Мой самолет из чертежей стал машиной, он поднялся в воздух, но еще неизвестно, хорошо ли он будет слушаться руля, не развалится ли на кусочки от вибрации? Наверняка не все учтено, что-то придется менять, что-то уточнять, отвергать, что-то придумывать заново. Дело только начато.

2

Помнится, как-то однажды я вышел из дома с ружьем, скромно намереваясь пошататься только в мелколесье Дворцовской поскотины, не увлекаясь, чтоб к обеду вернуться обратно,— авось наскочу на шальныхого зайчишку. Вечером ждали неотложные дела — никак нельзя было долго околачиваться в лесу.

Но, перелезая через овраг, пересекающий поскотину, я увидел разлапистый волчий след. Волки в наших местах не в диковинку. И обычно я полюбовался бы таким следом да прошел мимо. Но след был какой-то рваный, расхлябанный: одни отпечатки лап неглубоки, другие пробивают наст. Волк прыгал. Меня словно ошпарило: да ведь волк трехног, оттого и след рваный! Волк — калека, он не может быстро бежать, а след свежий, зверь здесь прошел

на рассвете. В патронташе у меня оказалось три патрона, заряженных крупной картечью.

И все здравые расчеты — обед, вечерние дела — были мгновенно забыты. Я бросился по следу, через овраги, через поскотину, через поля, мимо деревни Крестовка, в лес, в чащобы. Я петлял за следом до глухой темноты, заблудился, выбрался на знакомую дорогу поздним вечером, домой вернулся только в полночь.

Неровный след сломал мне рассчитанный наперед день, увлек меня, заполнил совершенно неожиданными желаниями, новыми страстями. Я, конечно, не догнал хромого волка, но не жалел, что пропал день.

Год назад таким вот следом в моей жизни был урок Василия Тихоновича. После него надежды, непохожие на прежние страсти и увлечения, охватили меня. Вся жизнь пошла по-иному.

Я в долгу перед Василием Тихоновичем. Но теперь, похоже, и для меня пришло время показать самого себя.

Я пригласил его на урок.

С Акиндином Акиндиновичем я обменялся часами, решил проводить подряд два урока русского языка. Мне теперь тесно в рамках сорока пяти минут. Не успеют ребята вникнуть в дело, не успеют по-настоящему войти во вкус, как раздается звонок. Два урока один за другим с перерывом на перемену.

Василий Тихонович сел спиной к окну — лицо в тени. Я никак не могу разглядеть его выражение, вижу лишь настороженно торчащие уши возле высоко подстриженных висков да загадочный блеск темных глаз. Пристальное всего эти глаза следят за одной партой.

Леня Бабин, безобидный и бестолковый увалень, сидит с Верочкой Кацуптиной. Белокурая, с таким свеженьkim лициком, словно всего минуту назад умывалась родниковой водой, с ямочками на розовых щеках, с большими светлыми глазами — воплощенная наивность и легкомыслие,— Верочка, собрав какое-то подобие морщинок на безмятежно-чистом лбу, держит перед собой карточку с вопросами и втолковывает Бабину.

Эти карточки, старательно исписанные моей рукой кусочки ватмана,— мое творчество. В них вложен весь опыт, вся изобретательность, на которую я способен. Они потайная пружина, двигающая мои уроки.

На прошлом уроке Верочка получила карточку, где среди других вопросов был, например, такой: «Расскажите о том, как в первый раз дед выпорол Алешу Пешкова».

Вопрос бесхитростный. Прямого ответа в учебнике на него нет. Верочка, как смогла, ответила соседу по парте, пересказала своими словами эпизоды из повести. А у соседа в карточке под тем же номером вопрос другой: «Передайте своими словами рассказ деда Каширина у постели больного Алеши». Верочка менялась местами, встречалась с новыми товарищами, сталкивалась с новыми вопросами, схожими и в то же время отличающимися друг от друга, и мало-помалу совместными усилиями создавался образ деда Каширина — хитрого, жадного, жестокого, но не лишенного порой какого-то человеческого обаяния. Он более близок и понятен ребятам, чем тот, которого расписал бы я. Он — их творчество.

В карточке есть вопросы, которые требуют прямого заучивания (например, даты), есть же вовсе эмоциональные, на них всякий может отвечать, как ему подсказывает совесть. «Оправдываешь ли ты жестокость, жадность, хищничество деда Каширина?» — «Как! Его оправдывать?..» — возмущается тот, кому попал в руки вопрос. Товарищи согласны с ним: «Тогда надо всякого подлеца прощать». Но находится такой, который не соглашается: «Тебя бы так с самого детства дубасили, думаешь, лучше был бы?» — «А Цыганок, а бабушка — у них разве другая жизнь, тоже не при коммунизме воспитывались. Почему они не такие, как дед?» И за партами разгорается спор. Отстаиваются мнения, у меня появляется новая возможность пристальнее взглядеться в ребячий характеры. Не беда даже, если на подобные вопросы, в конце концов, не будет точного и ясного ответа, что кто-то не откажется от своих взглядов, не всем думать по трафарету.

Василий Тихонович не спускает взгляда с парты, где сидит Верочка Капустина. Ей сейчас выпала нелегкая доля. Леня Бабин, опустив коротко остриженную крупную голову, таращит глаза на свою наставницу, добросовестно слушает.

Если б то же самое, что говорит сейчас Верочка, объяснял учитель перед классом, Бабин давно бы уже клевал носом. Но сейчас ему нельзя не слушать. Верочка говорит специально для него. Попробуй отвлечься, когда в упор наведены требовательные светлые глаза, не отвернешься, не размечтаешься — сразу же одернет: «Куда глядишь? Тебе же рассказываю». И Леня, раскрыв рот, старательно таращит глаза. Он слушает и волей-неволей что-то понимает.

— Повтори.

Бабин заворочался, пригнулся к парте, заплетающимся языком принялся объяснять. Верочка смотрит мимо него, чуть кивает в такт его словам головой, загибает палец за пальцем. Бабин косится на ее руку, на ее скимающиеся в кулечок пальцы, рассказывает.

— Ну, вот видишь,— доносится до меня голос Верочки.— Все рассказал.

На пухлом лице Лени Бабина облегчение, словно он переполз через страшную пропасть, донельзя рад, что теперь в безопасности.

— Ты только не торопись. Когда торопишься, у тебя язык заплетается. Ну-ка, давай сначала. Я поправлять буду.

И снова голова Бабина склоняется над партой. Но в нем теперь уже заметны перемены: наклон головы выражает упрямство, на мягким широком лице появляется выражение чего-то определенного, чего-то непривычно крепкого, и даже глаза таращат при заминках иначе: в них, напряженно округлившихся, уже нет прежней бесмысленности. Он сделал какой-то успех, воспринял это как значительную победу. А Верочки, сама того не ведая, подливает масла в огонь:

— Почти на четверку ответил. Все запомнил...

И от этого в вялой, невосприимчивой к укорам совести душе Лени Бабина появилось что-то отдаленно напоминающее страсть. Он, наверное, почувствовал себя не хуже других, он, оказывается, может получать четверки! Упрямо склонена ушастая стриженная голова к парте. Какие мысли сейчас шевелятся в ней? Они, верно, не лишены честолюбия. Он, Леня Бабин, ответил почти на четверку — мало! Ответит и на «пять»! Ответит Верочеке, ответит ассистенту Сереже Скворцову, ответит учителю, и весь класс станет удивляться: «Вот так Леня Бабин!» Может, его самого назначат ассистентом, ему станут отвечать такие, как Сережка Скворцов и Федя Кочкин. Морщится лоб у Лени, краснеют уши, крылья носа лоснятся от выступившего пота.

С затененного лица, загадочно поблескивая, глядят на него глаза Василия Тихоновича. Как бы мне хотелось заглянуть в глубину этих глаз!..

Стриженая тяжелая голова Лени Бабина и маленькая, с кокетливым зачесом льняных волос голова Верочки поднимаются разом. Звонок!

На лице Лени досада в той степени, в какой вообще он может выразить это чувство. Пятерка была так близка,

вот-вот, казалось, ее ухватит! Быть может, первая пятерка в жизни. Леня не двигается с места, он не прочь бы сидеть за партой всю перемену. А Верочка резво вскакивает, ей уже изрядно надоело вбивать несложную премудрость в неподатливую голову своего ученика. Неуклюже поднимается и Леня — все равно дежурный выгонит из класса. Но впереди еще один такой же урок, надо только перетерпеть этот десятиминутный перерыв.

Василий Тихонович встает; теперь я вижу его лицо, удлиненное, с крепким костищным носом, с плотно сжатым тонкогубым ртом. Оно сосредоточенно, собранно, замкнуто, с тем особым непередаваемым выражением, какое бывает у человека, бережно несущего переполненную чашку, откуда нельзя выплыснуть хотя бы каплю. Мягко ступая, он прошел мимо меня.

Он остался в коридоре. Мне тоже не хочется уходить в учительскую. Кажется, удалось! Василий Тихонович, мой первый судья, удивлен. И то, что он ничего не говорит, не расточает похвал, а молчит, как молчу я, не пугает меня. Самое важное я уже знаю — он удивлен. Во мне появляется чувство, близкое к нежности к этому высокому угловато-костищному человеку.

Верочка бежит к девчятам и через минуту, встряхивая волосами, носится по коридору, играет в салки. Леня Бабин, углубленный в самого себя, вертится около нее. Он не глядит в ее сторону, он делает вид, что случайно оказывается рядом с Верочкой. Но он неуклюж, он мешает играющим, терпеливо выносит от них толчки.

Бабин не выпускает из виду Верочку. Василий Тихонович, прислонившись острыми лопатками к стене, следит за Бабиным. Я, бесцельно прохаживаясь в стороне, приглядываюсь к Василию Тихоновичу. А вокруг нас ребячий шум, возня, топот ног.

При первом же дребезжании звонка Леня Бабин решительно хватает за подол свою «учительницу» и тащит в класс. Мы с Василием Тихоновичем переглядываемся, улыбаемся и, пропуская шумный ребячий поток в дверь класса, входим вместе.

3

Уроки окончились, мы с Василием Тихоновичем остались одни в пустом классе.

Василий Тихонович деловито, скрупульно задает вопросы:

как готовить карточки, какой объем материала можно использовать на уроке? Я отвечаю, слежу за его руками. Кисти рук у Василия Тихоновича широкие, костистые, с внешней стороны поросли темным волосом, но пальцы его гибки, беспокойны, нервны. Они сворачивают чистый лист бумаги в гармошку.

— Так, понятно...

Василий Тихонович комкает бумагу, отбрасывает в сторону, поднимается — высокий, поджарый, с острыми прямыми плечами, с длинным сухощавым лицом на тонкой кадыкастой шее. Он шагает размашистыми и в то же время мягкими шагами, несмотря на угловатость, весь напряженный, гибкий, сильный. Почему-то сейчас мне припоминается, как этот Василий Тихонович летом играл в волейбол. В майке и трусах, с оголенными тощими руками и ногами, густо поросшими черным курчавым волосом, на горбоносом, лоснящемся от пота лице выражение ястребиной стремительности, он то выгибается, доставая длинной рукой рискованный мяч, то, узкий, вытянутый, легко возносится над землей. Те же гибкость и сила чувствуются в нем и теперь, то же мятущееся беспокойство — переплел пальцы, хрустнул ими, круто повернулся и вдруг разразился горячим, негодящим потоком слов:

— Черт возьми! Как это нужно — то, что ты делаешь! (Он впервые обратился ко мне на «ты» и не заметил этого.) Человечество захлебывается в своих знаниях. Что ни день, то новые открытия, что ни день, то больше багаж. А система учебы в своей основе почти такая же, какая была при Яне Коменском — триста лет назад. Триста лет! Тогда химия и астрономия были шарлатанством. А физика, а математика! Что это были тогда за науки! В те годы только-только появился на свет Ньютон. Не было Ломоносова, Лапласа, Эйнштейна. Не было Бальзака, Толстого, Пушкина. Если бы ученик Яна Коменского увидел, сколько нужно знать заурядному ученику середины двадцатого века, то, наверное бы, не поверил, что все это можно выучить за обыкновенную человеческую жизнь. А ведь жизнь-то человека осталась прежней, господь бог не добавил веку людям нашего времени. Мы учим самыми варварскими способами. Наш учитель вооружен так же, как учителя сто, двести лет назад, — куском мела и вот этой самой доской! — Василий Тихонович тряхнул за край стоящую в классе доску. — У рабочего появились новые станки, крестьянину помогают трактор и комбайн, а учителю — кусок мела и традиционная указка. Кино, телевиде-

ние вошли в быт, но не в школу. Плохо ли заменить эту дедовскую классную доску экраном! Нельзя разве переложить учебники на узкую пленку? Нельзя заставить мультиплекаторов объяснять диффузию материалов или битву под Бородицом? Так ли уж дорого обошлись бы портативные кинопроекторы на каждый класс? Да можем ли мы мечтать об этом, когда у наших школ порой не хватает денег на покупку чернил и тетрадей! Наша школа неблагоустроена и в то же время дорого обходится государству. А почему? Да потому, что кустарщина всегда дорога. Государству приходится держать целые армии Иванов Кузьмичей, Акиндинов Акиндиновичей, учителей полуобразованных, петворческих, с грехом пополам знающих свой предмет. Иваны Кузьмичи и Акиндины Акиндиновичи непроизводительно теряют время, программам приходится под них подстраиваться, то, что можно преподавать в четыре года, преподается в шесть лет, то, что в восемь, преподается в десять лет!..

Василий Тихонович споткнулся о слово «передо мной», сжал свои руки с крепко сцепленными пальцами.

— Усовершенствовать учебный процесс — великое дело, — сказал он, глядя на меня своими черными горячими глазами. — Но ты думаешь, это все, что нужно сейчас школе?

— Наверное, нужно многое, — ответил я. — Но нельзя же хвататься сразу за все.

— Нет, не многое. Перед школой стоят две огромнейшие проблемы. Только две!

— Какие же?

— Первое — усовершенствовать процесс обучения, то, что ты делаешь...

— Второе?..

— Второе — труд! Все остальные проблемы, какие возникают и могут возникнуть, — составные части той или иной половины.

— Труд?.. — повторил я.

В газетных статьях, в журналах — всюду, где разговор заходил о школе, я постоянно сталкивался с обсуждением трудового воспитания. Каждую осень все классы нашей школы во главе с учителями выходили помогать колхозам: месили грязь на раскисших полях, стынищими на холодном ветру руками выбирали из мокрой, липкой земли грязный картофель, сваливали его в кучи, насыпали в мешки, взваливали эти мешки на подводы — и это называлось трудовым воспитанием. Вместе со всеми я смотрел на та-

кое воспитание как на неприятную обязанность, своего рода обузу, отнимающую от учебы дорогое время. Ее нужно скорей выполнить, упомянуть в отчетах и забыть. Степан Артемович собирался организовать при школе столярную мастерскую, где бы можно было и зимой ученикам заниматься трудом. Но на мастерскую не отпускали денег, да и Степан Артемович почему-то не был особенно настойчив. Ну а если Степан Артемович сумеет выхлопотать средства на такую мастерскую, будет ли после этого решен вопрос о трудовом воспитании? Ученики научатся делать плохие табуретки, ненужные рамки для портретов, получат споровку весьма посредственных столяров — ну и что же? Я не знал, как решить этот вопрос, старался о нем не думать, тем более что и без него хватало разных вопросов.

Сейчас я в упор спросил Василия Тихоновича:

— Может, ты мне скажешь, в чем, собственно, заключается это трудовое воспитание, о котором мы так много говорим?

— В чем? В старых, как мир, назидательных словах: надо любить труд! — ответил он.

— Как это сделать? Сунуть лопату в руки школьнику и приказать: копай и проникайся любовью?.. В этих назидательных словах мне всегда слышится ханжество.

— Ты прав, — согласился Василий Тихонович, стараясь спрятать беспокойный, тревожный блеск в глазах. — Прав! Толкать на труд неосмыслиенный, принуждать к труду и говорить при этом: «Люби!» — ханжество! Но скажи, ты сам испытывал наслаждение от труда?

Я задумался.

— Наверно, испытывал. Иногда мне приятно колоть дрова. Приятен сам процесс этого занятия, когда под моими ударами кругляки разлетаются на плахи.

— А еще?

— Еще знаю, что художник порой испытывает удовольствие оттого, что мазок к мазку накладывает на холст краску, ищет созвучие цветовых пятен.

— А когда ты писал те карточки, которые я сегодня видел в руках твоих учеников, скажи — доставляло это тебе удовольствие? А? — Василий Тихонович подался ко мне всем телом, из-под жестких ресниц глядел мне в зрачки.

— Писать карточки?.. — повторил я нерешительно. — Иногда какие-то находки при этом радуют, но только иногда. А так — кропотливый, нудный, неблагодарный труд.

Составить карточки, потом их переписывать — нет, в конце концов, не приятная работа. Я бы с удовольствием отказался от нее, если б не нужно.

— Ага! Если б не нужно!.. Но раз нужно, ты ее делал, не обращая внимания, что трудно, кропотливо, утомительно. И вдохновение художника вызывается не наслаждением от самой работы, не накладыванием красочек, а тем, что его работа, это накладывание красок нужны (понимаешь, нужны) для выражения чувств, мыслей, идей. Если б человек делал только то, что приятно, не насиловал себя ради каких-то больших и малых целей, то он до сих пор бегал бы на четвереньках. По-настоящему полюбить труд можно только тогда, когда полюбишь то, *для чего этот труд нужен*. Неприятно тебе писать карточки, а попробуй запретить тебе их писать, ты вой подымешь, будешь отстаивать свое право делать эту скучную работу. Подымешьвой?

— Наверно, подыму.

— Нельзя просто сунуть ученику в руки лопату, приказать: копай и проникайся любовью. Надо ему прежде объяснить, для чего он берет в руки эту лопату, какую цель достигнет, если вскопает землю. Мало того, надо заставить полюбить эту цель. Если полюбит, то сам схватится за лопату.

— Красиво...

— Красиво? Это слово, с той интонацией, с какой ты произнес сейчас, — слово-убийца. Когда Циолковский в купеческой Калуге мечтал о полетах на Луну, наверняка какие-то просвещенные деятели пожимали насмешливо плечами: «Красиво». Попробуй возразить, попробуй опровергнуть это слово. Как погребальной доской, им замуровывали все живое, дерзкое, все, что пугало куцый ум обычательской башки. И Макаренко в свое время слышал это слово. Но тогда дело Макаренко было каким-то откровением, скептицизму и недоверию можно было найти оправдание. А вот ты, знающий труды Макаренко, уважающий этого педагога, ты, человек неспокойный, пытающийся искать новое, как ты можешь бросаться этим словом?

— А что я мог еще сказать, когда ты, кроме общих фраз, ничего не сообщил, во что можно бы поверить.

— Я не сообщил, так другие это сделали задолго до меня. Опыт Макаренко для тебя разве пустой звук? Ты учишь ребят правилам грамматики, учишь понимать образ деда Каширина. Учишь и приговариваешь: «Надо знать,

пригодится в жизни». Пригодится, а не как жить. А ведь это не одно и то же. Макаренко учил, как жить. Его колонисты копали бураки. Грязная, неприятная работа. Но каждый из колонистов видел за этими бураками новые здания с паркетными полами, корпуса заводов со сложными станками, видел новую, красивую жизнь. И это было той заманчивой целью, ради которой нужно рыть бураки, набивать на руках мозоли, покрываться потом. Не то важно, что колонисты научились выращивать бураки: быть может, ни один из них не стал в будущем свекловодом,— важно, что на этих бураках они учились сообща думать, сообща трудиться, учились, как жить. Ведь самое важное в человеческой жизни — коллективный труд!

— Все верно, только у Макаренко были другие условия, да и время было непохожее. У нас...

Василий Тихонович не дал мне договорить:

— Другое время! Другие условия! Дай, видишь ли, подходящие условия — ты согласишься действовать. Переместите, мол, в более благоприятное время — добьюсь того, чего добивался Макаренко. А ты попробуй при тех условиях, какие есть, при том времени, какое наступило сейчас на планете, действовать и добиваться. И никто не предложит тебе повторить тютелька в тюельку Макаренко, копировать его. Это и невозможно и не нужно. Надо на его опыте искать свое собственное, которое бы укладывалось в рамки нашего времени, наших условий.

— Хорошо,— сказал я, сердясь на обличительный тон Василия Тихоновича.— Ты прав. Но сам по себе напрашивается вопрос. Как? Как сделать все это? У Макаренко была какая-то база, на которой его колонисты могли развернуться, в конце концов дойти до завода со сложным оборудованием. У нас — ничего. Как нам быть? Ты знаешь?

— Вот это другой разговор. Если ты ждешь от меня точного ответа, разработанного во всех подробностях плана действий, то должен огорчить — нет пока этого. Надо искать, нащупывать, как сейчас ты ищешь и нащупываешь новые способы ведения уроков. Вокруг нас колхозы, у них есть земли, есть машины, есть скот — к ним надо идти за помощью.

— За помощью?.. Вокруг нет колхозов-миллионеров, которые бы без особого ущерба для себя могли бы нас облагодетельствовать.

— А мы и не будем вымаливать благодеяний. Колхозы сами нуждаются в помощи, у них не хватает рабочих рук. У нас в школе есть эти руки, двести человек учатся

только в старших классах. Не филантропия, а союз на обоюдных выгодах. А вот какими должны быть условия этого союза, об этом нам придется поразмышлять...

Я задумался: трудовая школа по типу колоний Макаренко — советы командиров, обсуждения, работы в поле и учеба в классах. Черт возьми! Я мечтал с помощью одних только уроков сделать своих учеников коллективистами, а тут совместное планирование, совместный труд — нет, об этом я мечтать не осмеливался.

Василий Тихонович гляделся в меня с прищуром, ждал, что скажу.

— Мы с тобой судим как хозяева школы,— договорил я,— а как еще поглядит Степан Артемович. Не в наших руках, а в его находятся вожжи, управляющие школой.

— Степан Артемович нас не поддержит, на него рассчитывать нечего,— жестко отрезал Василий Тихонович.

— Тогда на что рассчитывать? Выходит, что наш разговор — пустопорожняя болтовня.

— Я рассчитываю на войну со Степаном Артемовичем, которую открыл ты.

— Я?.. Со Степаном Артемовичем?.. Войну?!

— Да, ты.— Глаза Василия Тихоновича, темные и горячие, не дрогнули при этом.

— Ну, знаешь... Я предпочитаю не связываться с ним.

— Степан Артемович верит, что он безупречный педагог, что его путь самый правильный. Вряд ли он будет терпеть, что у него под боком какие-то малоопытные, на его взгляд, учителя ломают его порядок. Тот урок, который ты мне сейчас показал, хочешь или нет, объявление Степану Артемовичу войны.

— Рановато воевать. Дело только начинается, много непроверенного...

— Не рано. Вряд ли эта война будет скоропалительной. Не завтра же мы пойдем просить у колхоза: даешь землю, даешь фермы! Такой поворот в школе не делается с маxу, в несколько дней. Кто знает, быть может, эти Лени Бабины и Верочки Капустины уже к тому времени успеют окончить школу, но их место займут другие, и эти другие станут у нас воспитываться по-новому.

Мы вынули папиросы и в нарушение всех правил внутреннего распорядка закурили прямо в классе, молчаливо, оценивающе поглядывая друг на друга.

Говорят, что людей крепко роднит прошлое, годы, проведенные под одной ли крышей, в одном ли окопе, на этот счет есть даже пословица: «Старый друг лучше новых

двух». Что верно, то верно — прошлое роднит, но еще крепче роднит людей будущее, общие устремления, общие надежды. Как я, так и Василий Тихонович чувствовали эту зарождающуюся родственность, но она была нова, неожиданна, непривычна для нас, потому-то мы и приглядывались друг к другу, старались оценить...

4

— То-оварищи! Андрей Васильевич! Василий Тихонович! Что за безобразие?

В дверях стояла Тамара Константиновна и негодующе глядела на наши дымящиеся папиросы. Даже в глазах Василия Тихоновича, обычно самоуверенно-дерзких, промелькнула откровенная мальчишеская растерянность.

Мы только что говорили о войне со Степаном Артемовичем — и вот вам, появляется Тамара Константиновна, правая рука его, самая ревнивая охранительница его прав. Мы невольно почувствовали себя виноватыми не в одном лишь ребячливом грехе — курении.

— Взрослые люди! Педагоги! Хорош пример для учеников. Как вам не стыдно? Одно остается — чтоб вы еще и на уроках дымить начали.

Тамара Константиновна шагнула в класс — с величественной осанкой, тяжелый пучок волос на затылке оттягивает голову, заставляет надменно поднимать подбородок. Она готовилась стать матерью, свое монументальное тело в просторной кофте носила с бережной важностью. И сейчас она медлительно, обходя стороной парты, подошла к нам.

— Просим прощения, забылись,— сказал Василий Тихонович, гася папирису.

Тамара Константиновна повернулась на каблуках к мне.

— Хорошо, что я вас застала, Андрей Васильевич. У меня к вам особый разговор.

— Слушаю.

— Я просматривала только что журналы... Странная вещь, Андрей Васильевич: в седьмом «А» по вашим предметам за последнее время каждый ученик получил огромное количество отметок. У меня сейчас под рукой, к сожалению, нет журнала, но помню, что у некоторых учеников выставлено астрономическое число оценок. Когда вы успеваете спрашивать всех? Ведь если считать, что вы обяза-

ны преподносить на уроках новый материал, то, по здравому расчету, вам просто не должно хватать времени на такое количество вопросов. Соответствуют ли ваши оценки знаниям?

Белое полное лицо Тамары Константиновны, как всегда, величественно, взгляд строгий, но неуловимо в уголках губ, в глубине зрачков таится тревога и страх передо мной. Для нее действительно этот поток отметок, хлынувший по моей вине на страницы классного журнала, неподъясним, противоречит здравому смыслу. До поры до времени я не открывал своих секретов, боялся вмешательства, лишнего шума, ненужных сомнений со стороны хотя бы той же Тамары Константиновны. Теперь прятаться неизачем, нужно сказать. И я ответил:

— Все дело в том, Тамара Константиновна, что я теперь свои уроки веду несколько иначе. Если хотите, мы можем сейчас сесть, и я подробно вам изложу все.

— Вот как! — Под глазами на белых щеках Тамары Константиновны проступили вишневые пятна. — Разрешите спросить, почему вы заранее не поставили меня в известность? Почему заведующая учебной частью должна сама догадываться, что вы там творите на уроках?

— Для того чтобы поставить вас в известность, я сам должен твердо верить, что у меня получается. Даже теперь полной уверенности нет в успехе, но тем не менее я готов рассказать.

Василий Тихонович стоял в стороне и с тем же любопытством, с тем же загадочным блеском под ресницами, с каким он наблюдал за Леной Бабиным и Верочкой Капустиной, глядел сейчас на Тамару Константиновну.

— Нет, вы понимаете, что это такое? Это партизанщина! Что получится, если каждый педагог станет действовать, как ему заблагорассудится! Вы обязаны рассказать мне свои замыслы, еще не приступая к их осуществлению.

— А если б вам мои замыслы не понравились?

— Если б мне не понравились, то я, как лицо в какой-то мере отвечающее за школу, имею право потребовать от вас такого преподавания, какое нужно.

Василий Тихонович подал свой голос:

— Тамара Константиновна, а вы не допускаете такой мысли, что сами можете ошибиться насчет интересов школы?

— Василий Тихонович! — вскинула подбородок Тамара Константиновна. — Мне кажется, Бирюков сам за себя может ответить. Если я помешала вашим разговорам, то

могу удалиться, и вы продолжайте свою беседу. Только без папирос. Если же вы кончили свои обсуждения, то я бы попросила об одолжении, Василий Тихонович, оставить нас вдвоем.

— Да, мы уже переговорили. Я ухожу. Но прежде должен сказать: понравится или нет вам мое мнение, Бирюков добивается того, что должно преобразить всю школу. Имейте это в виду. До свидания, не буду вам мешать.

Василий Тихонович бросил на меня выразительный взгляд, словно говоря: «Разве я был не прав? Вот оно, начало». Мягко ступая, прошел к двери, бесшумно прикрыл ее за собой. Тамара Константиновна и я остались с глазу на глаз.

— Андрей Васильевич,— торжественным иластным тоном начала она,— я не противник нового, но я не могу допускать хаоса в работе. Я уже давно замечаю в вас желание уйти из-под моего контроля. В прошлом году вы занимались какими-то экспериментами, в этом году у вас поевые фокусы. Ответьте сами, как мне относиться к вам: молчать, не замечать, глядеть сквозь пальцы? Тогда зачем же меня назначили заведующей учебной частью?

— Вот я и собираюсь поговорить с вами как с завучем. Хочу не только рассказать, но даже просить у вас помощи.

— Какой помощи?

— В первую очередь — выслушать и понять. Во вторую — если найдете полезным, привлечь к этому делу других учителей. Тут мне без вашей помощи не обойтись.

— Выслушать? Я готова. Но имейте в виду, я не считаю, что наша школа находится в таком уж бедственном положении, чтобы требовалось ее спасать какими-то срочными нововведениями. Впрочем, я сажусь, рассказывайте.

Она села, поджала губы, выставила вперед подбородок. Ее вид не очень-то располагал к душевной беседе. Но я сел напротив и стал рассказывать...

Я рассказывал, а величественное выражение на лице Тамары Константиновны сменилось растерянностью, холодные, выпуклые, со стеклянным блеском глаза бегали беспокойно, беспомощно, белые руки нервно били пальцами по столу. Эта женщина была в свое время добросовестной учительницей истории. За свою исполнительность она и была выдвинута Степаном Артемовичем заведующей учебной частью. Она с энергией и перенятой от директора властью выполняла поручения, не вдумываясь в них, свято веря в правоту каждого слова, каждого приказа Сте-

пана Артемовича. Нужно — выполнено. В этом был весь нехитрый кодекс ее жизни — и работать просто, и сама жизнь ясна. И вдруг эти простота и ясность рушатся. Надо, оказывается, что-то искать, нужно подвергать сомнениям то, чему она безоговорочно верила. Сначала какой-то Бирюков. Попробуй-ка проверь, укажи, прочитай наставление, когда в его замыслах черт ногу сломит. Потом по его примеру начнут мудрить и другие учителя. Как работать? Чем поддерживать авторитет?..

Тамара Константиновна слушала и нетерпеливо стучала ногтями по столу.

— Так,— сказала она.— Вы не согласны, Андрей Васильевич, с тем порядком, какой установлен в нашей школе? Прекрасно! Никто вас не держит. Ищите более подходящий к вашей беспрокойной натуре объект. Вносить сумятицу в работу не дадим!

— Тамара Константиновна! Вы же знаете мои дела только по тому рассказу, какой я вам бегло изложил в течение пятнадцати минут. Вы не побывали на уроках, не проверили, не вникли, не вдумались, и все-таки готовы уже гнать меня из школы. Чем вызвано такое недоброжелательство? За то, что у меня по некоторым вопросам не сходятся взгляды с вами, с работы не снимают.

Тамара Константиновна поднялась, рослая, широкая, вновь обретшая свою величавую осанку. Глядя мимо меня, как обычно умел глядеть Степан Артемович, она произнесла:

— Вы правы. Но я и не думала предпринимать что-либо без проверки. Мы взглядимся, мы вникнем. Я завтра же побываю у вас на уроках.

— Хорошо. Но я хочу, чтоб в проверке участвовали и другие учителя. Назначьте комиссию.

— Предоставьте нам самим решить все организационные вопросы.— Тамара Константиновна кивнула подбородком.— До завтра... Сберите, пожалуйста, свои окурки, когда будете уходить.

С прежней бережной важностью, обходя углы парт, она вынесла из класса свое тело, облаченное в просторную кофту.

Я же, провожая ее взглядом, думал: «Будет ли война продолжительной — не знаю. Но началась она, сверх всякого ожидания, быстро — в этом Василий Тихонович оказался прямо-таки прозорливцем...»

Я вышел из школы. Ранний зимний вечер был тих и морозен. За крышами села тлел жидающий закат. Пухлые, массивные, девственно чистые сугробы придавили ветхие загарьевские заборчики. За заборчиками — снежное кружево, все деревья в снегу, каждая, самая мельчайшая, веточка изнемогает от снежной ноши. На старой примелькавшейся ели, что стоит при дороге, — многопудовый снежный тулуп; тяжело ей, но крепится, держит. Снег выпирает с крыш козырьками, в снежной шапке каждый телефонный столб, каждый колышек у заборов — снег, снег, снег... Изобилие снега, давнего, заматерелого. Я словно проснулся в эту минуту. Были оттепели, были метели, я надевал на валенки калоши, поднимая воротник от резкого ветра, жил и не замечал, как идет время.

Идет время — вечера за письменным столом в облаках табачного дыма, вороха исписанной бумаги, уроки, короткий путь из школы домой, когда голова занята опять мыслями о тех же уроках, о карточках-вопросниках, когда не замечаешь ни размытых зимних закатов над крышами, ни изобилия снега, ни оттепелей, ни морозов.

Гаснет сейчас вылинявший, холодный закат. Кончается еще один день, чтобы уступить место другому. И завтра пойдет то же самое: опять заваленный бумагами узкий стол, растущая куча окурков в пепельнице, опять расчеты, планировка, уроки, к этому прибавятся еще столкновения с Тамарой Константиновной, со Степаном Артемовичем, новые разговоры с Василием Тихоновичем; быть может, поближе сойдусь с какими-то учителями, передам им свои сомнения и надежды.

Идет время. Я давно уже не снимал со стены ружье, давно не выходил в лес, даже в кино нет времени выбираться, даже не заглядываю больше к Олегу Владимировичу, чтоб сыграть партию в шахматы. Я как-то забыл о самом себе, забыл, что существуют простые житейские радости, что иногда можно, не растравляя себя заботами, глядеть на мерцающий под луной снег, что есть застольные дружеские беседы, сумбурные, бесцельные, подогретые, быть может, стопкой водки, заставляющей распахивать душу наизнанку, есть музыка, есть книги, не педагогические, толкующие о проблемах школьного обучения, а просто повествующие о чужих страстиах, чужих радостях, о красоте и многообразии жизни.

Я такой же человек, как и все, у меня не десять жизней,

а одна. Я иногда должен подумать и о себе, о том, чтоб моя жизнь была приятна и разнообразна.

Книги, кино, музыка, живопись много говорят об одной из самых прекрасных сторон в человеческой жизни — о любви. Любил ли я? Любили ли меня? Если оглянуться назад, если спросить себя: богата ли моя жизнь любовью к женщине?..

Моя юность, самые светлые годы, те, что больше всего любят воспевать поэты, с семнадцати до двадцати лет, прошла в окопах. Тут уж не до любви.

В госпитале я тайно, по-мальчишески влюбился в операционную сестру. Что о ней сказать? У нее был свежий цвет лица — только это теперь и помню. Когда старый лысый хирург с басовитым командирским голосом делал мне операцию, она подавала инструменты. Операция проходила под местным наркозом, шивали перебитый осколком нерв, стягивали его концы, и свирепая боль — словно все тело от макушки до пят заполнено беснующимися электрическими разрядами — не подчинялась наркозу. Но я не позволил себе издать стона, так как рядом со мной стояла она. Я не стонал и тогда, когда наркоз уже потерял силу и хирург по живому воспаленному телу шивал шелком распоротую рану. Она рядом! Я был мужчиной, чтоб, стиснув зубы, без звука вынести боль. Но подойти к сестре и сказать, что она мне нравится, что я люблю ее, — в этом я был еще мальчиком, тут у меня не хватало мужества.

Помню душистый запах табаков из дачных садиков, помню песню: «Выткался над озером алый цвет зари...» Как пели будущие актрисы!..

Эмма Барышева... Помню ее походку с мягкой развальчкой, ее морщинку между бровей во время работы. Но разве это любовь? Нет, даже не увлечение.

А незнакомка в метро?.. Мокрая городская площадь, затихающий стук каблучков... Может, это любовь? Нет! Желание любви, надежда на нее — и только.

Леночка Круглова. Первое и единственное любовное письмо. Настойчивые и грубоватые преследования... Поиски любви — да! Тоска по любви, бунт против того, что она не приходит!

А женитьба на Тоне?.. Была гордость за себя и за нее, было чувство успокоения — наконец-то нашел, наконец-то заполнил пустоту.

Живу с Тоней уже седьмой год и не задумываюсь, что я испытываю к ней: любовь или привычку?..

У меня всегда чистые носки, свежие сорочки. Вот и теперь, несмотря на поздний час, меня ждет дома горячий обед. Удобно жить рядом с Тоней.

В этом году в мою жизнь вошла еще одна женщина — Валентина Павловна. Как-то она мне сказала: «Хотела бы я иметь рядом такого товарища». Она говорила, кажется, о другом человеке, но я это принял па свой счет.

С того дня, как она мне вручила папку с рукописью Ткаченко, с той минуты, когда она, натянув на голову вязаную шапочку с воинственно торчащим пушистым помпоном, вышла из комнаты, наши встречи прекратились. Раньше она была одинока, она металась в какой-то пустоте, не знала, куда бросить себя, тогда я был нужен ей как человек, который ее понимает. Мои посещения были для нее хотя маленькими, но событиями. Теперь она работает, засиживается в редакции, и уж мое появление для нее больше не событие.

Однажды я пошел к ней, чтобы возвратить рукопись Ткаченко. Ходил поблагодарить за помощь, хотел поделиться тем, как эта рукопись изменила мою жизнь. Разве это не интересно? Она же может понять, она отзывчивый человек.

Я поднялся на второй этаж, не успел постучать в дверь, как она сама открылась, и на пороге выросла Валентина Павловна в застегнутой наглухо шубке, в надвинутой на темно-серые глаза меховой шапочке. Потому ли, что я с ней долго не встречался, потому ли, что она для меня стала более недоступной, какой-то запретной, она мне в этот момент показалась неестественно красивой: темный мех цигейки оттенял нежный с ямочкой подбородок, вздрагивающие в знакомой улыбке губы, светлые ресницы доверчиво вскинуты, чуть уловимый запах духов смешивается с каким-то теплым, комнатным запахом, идущим от шубы. Она взяла папку, попросила зайти в комнату, а потом сообщила:

— Андрей Васильевич, я рада вас видеть. Только я, к сожалению, тороплюсь.— Сама над собой иронически усмехнулась: — Занятой человек, как видите.

Мы вместе вышли на улицу. Она о чем-то говорила, я молчал. Я вдруг стал робеть перед нею.

— Заходите, обязательно заходите. Вы все мне расскажете, — прощалась она со мной.

Но я не зашел больше. Я сам себе не признавался в том, что боялся с ней встречаться. Между нами пропасть, зачем обманывать себя несуществими надеждами,

строить через эту пропасть маниловский мост? Будут пен-
нужные мучения, осложнится жизнь, а уж моя-то жизнь
и без того сложна, нет времени по-настоящему высаться.
Трезво рассудить — зачем я теперь ей? Пусть себе живет
спокойно.

Не велико село Загарье, все жители в нем в общем зна-
ют друг друга, но в нем можно годами не сталкиваться с
человеком. Я даже на улице не встречался с Валентиной
Павловной.

И вот сейчас я, словно проснувшись, увидел вокруг
себя разгар зимы во всем ее снежном величии, вспомнил
про уходящее время, про однообразие своей жизни, идущей
по кругу от письменного стола до школьных классов
и обратно: вместе с пронзительной жалостью к самому
себе я вспомнил и о Валентине Павловне. Ее лицо с пеж-
ной, прозрачной кожей, на первый взгляд такое простое,
наивное,— ох, эта простота!.. Ее губы, маленькие, крец-
кие, даже в горькие минуты не умеющие скрыть какого-то
жизнелюбия — о нет, самого беспорочного жизнелюбия!
Ее руки, массивные у запястья, тонкие, с хрупко высту-
пающими косточками в кистях. Ее напористая походка,
мелкие, решительные шажки крепких ног, а голова при
этом чуть вскинута. Есть что-то задорное, девичье, воин-
ственное в ее походке...

Почему я прячусь от этого человека? Мне приятно ее
видеть, мне приятно говорить с ней, чувствовать себя возле
нее сильным и мужественным, приятно удивлять ее — а
мне есть чем удивить, есть о чем рассказать! Почему же
лишаю себя этого, накладываю запрет, как когда-то запре-
щал себе петь песни со студентками в тот пахучий летний
вечер московского пригорода! Может быть, я желал бы от
нее большего, чем простая дружба, но хорошо и только
это.

Я повернул к знакомому мне дому.

— Ага! Андрей Васильевич! Заходите, заходите! Давно
что-то вас не видно.— Без пиджака, в подтяжках поверх
сорочки, меня встретил Ващенков.— Валя вас частенько
вспоминает. Жаль, ее нет сейчас.— Ващенков развел руками.— Работает, ночью домой приходит. А я, как видите,
сам хозяйничаю, обеды себе разогреваю. Не хотите ли со
мной за компанию?

Я отказался от обеда. Ващенков, извинившись, сел за
стол. Мы разговаривали о Валентине Павловне, о ее заня-
тии, о неудобствах быта, когда жена с излишним рвени-
ем отдается работе. Поговорили о погоде, о больших сне-

гах, вместе выразили желание, чтоб весна была дружной:
«Тогда уж можно надеяться на урожай...»

После обеда Ващенков сосредоточенно ковырял в зубах, вид его был покойный и веселый. И вся знакомая мне квартира с висящим над столом желтым абажуром хранила на себе следы покоя и довольства.

Дверь в комнату, где когда-то лежала Аня, распахнута, там теперь стоял письменный стол, перекочевавший отсюда. Корешки книг как-то успокоительно поблескивали при лимонном свете, просачивающемся сквозь абажур. Даже пейзаж — болотце с ельничком и пасмурным небом, — казалось, уже больше не тревожил прадедовской печалью, а занимал свое место в общем уюте.

Побыв ровно столько времени, сколько нужно для приличия, я стал прощаться. Чужие тревоги, чужие беды еще могут вызывать и сочувствие, и интерес, и даже ответную тревогу, а чужое счастье всегда выглядит скучно. Не зря же романисты обрывают свои истории на том месте, когда после неудач и страданий герои обретают покой и благополучие.

Задевая за черные трубы, над голубыми пухлыми крышами плыла луна. Она освещала снежные богатства, затопившие село Загарье.

Хорошо бы утром встать пораньше, взять ружье — да в лес, встряхнуться, выветрить из себя накопившуюся за последнее время муть! Завтра утром не выйдет. Завтра с девяти, как всегда, начнутся уроки. Да еще Тамара Константиновна обещала нагрянуть с визитом. Надо быть готовым. Придется снова сидеть часов до двух, курить, ломать голову, рыться в бумагах...

Завтра не выйдет, но в первый же выходной я вырвусь.
Непременно!

6

На следующий день Тамара Константиновна оказалась слишком занятой, не сумела посетить мои уроки. Не собралась она и на третий день и на четвертый. Я догадывался, что тут не обошлось без Степана Артемовича. Он, верно, не хотел поднимать лишнего шума. Всякий шум мог бы вызвать любопытство, споры, обостренный интерес, а если я стану по-прежнему копаться в одиночку, то привычный ритм школьной работы не будет потревожен. Другое дело, когда я споткнусь, потерплю неудачу, тогда можно

и спросить, осудить, запретить. Степан Артемович не любил поступать неосмотрительно и без нужды торопить события.

Во время одной перемены в учительской подошел ко мне Олег Владимирович Свешников и открыто обратился:

— Разрешите поприсутствовать у вас на уроках?

Олег Владимирович, этот краснолицый, грузноватый мужчина, с густыми бровями (он имел привычку подкручивать их, как усы), несмотря на свое грозное обличье, был застенчив и покладист, один из немногих находился в близких отношениях с колючим и задиристым учителем физики. Василий Тихонович, верно, постарался расписать ему мои уроки.

— У меня сейчас свободное время, а я так много слышал о ваших делах... Нельзя ли сейчас... — со своей угрюмоватой и застенчивой улыбкой, выкручивая толстыми пальцами брови, говорил Олег Владимирович.

— Конечно, конечно, в любое время, — поспешил согласился я.

— Пригласите-ка, дружочек, и меня! — весело откликнулся от стола Иван Паликарпович. — Весьма любопытно, что вы там творите.

Оба авторитетные педагоги, оба доброжелательные, искренние люди, никогда не случалось, чтоб они проявляли к кому-нибудь чувство профессиональной зависти. Если и заручаться чьей-то поддержкой, то только их.

Тамара Константиновна, сидевшая в это время на другом конце стола, со скрытым смятением уставилась на нас. Запретить посещение моих уроков она не могла, но интерес к ним ее тревожил. И она, должно быть, решила — лучше пойти вместе со всеми, чем пустить на самотек.

— Андрей Васильевич, — произнесла она, — сейчас и я, кстати, могу поприсутствовать на уроке.

— Очень рад. Идемте вместе.

— И я с вами! — вызвался еще один из молодых учителей.

Только в этом году он появился в нашей школе. Сразу же из пединститута, круглолицый, румяный, с большим ртом и мальчишеской беспорядочной шевелюрой, он всеми силами старался прикрыть свою молодость — курил военную трубку для солидности, держался степенно, старался говорить воркующим басом, знакомясь с новыми людьми, нарочито крепко жал руку, веско произносил: «Локотков, Егор Филиппович», — и не мог скрыть самолюбивой обиды, если его называли не Егором Филиппови-

чем, а просто Жорой. Он испытывал трепетное уважение к Степану Артемовичу, с горячим почтением относился к Ивану Поликарповичу за возраст, за внушительную седину, за то, что любого из учителей тот может называть по-просту: «дружок мой». И сейчас Жора Локотков вызвался идти ко мне на урок только потому, что подал голос Иван Поликарпович.

После звонка, когда шум перемены улегся в коридорах, стихийно возникшая комиссия направилась к дверям седьмого «А»: Тамара Константиновна со своей медлительной, бережной походкой, Олег Владимирович, выступающий в перевалочку, Иван Поликарпович, как всегда высоко державший свою седую голову, поминутно расправляющий крючковатым пальцем усы, Жора, он же Егор Филиппович Локотков, едва сдерживающий мальчишескую прыть в ногах.

Обсуждение урока началось еще в коридоре, как только дверь класса захлопнулась за нашими спинами.

Олег Владимирович, забежав вперед, склонив на плечо свою крупную, с дремучими бровями голову, с первого же слова выразил опасение:

— Простите, Андрей Васильевич, не выльется ли в конце концов такое коллективное заучивание в сухую зубрежку?

— Да, если пустить на самотек, если не принять мер, непременно выльется. Это самая большая опасность.

— Если не принять мер? А какие меры вы принимаете?

Но в эту минуту мы подошли к дверям учительской, и я не успел ответить Олегу Владимировичу.

Собравшиеся здесь учителя прекратили разговоры, уставились на нас с любопытством. Тамара Константиновна, почувствовав общее внимание, повернулась ко мне, широкая, монументальная, со взглядом, направленным прямо в переносицу.

— Фокусы! — заявила она громко. — Никому не нужные фокусы! Такое у меня впечатление, Андрей Васильевич.

Я развел руками.

— Могу только возразить, что не согласен с вами.

— Разумеется, — презрительно дернула углом сочного рта Тамара Константиновна.

— Минуточку, — перебил ее Иван Поликарпович. —

Хочется беспристрастно разобраться... Олег Владимирович тут задал интересный вопрос: какие меры принимаете вы, Андрей Васильевич, чтобы избежать опасности зазубривания? Весьма любопытно, как вы ответите.

Учителя повставали со своих мест, один за другим направились от стола в нашу сторону. Олег Владимирович придвигнулся вплотную, на красном широком лице — обостренное внимание. Иван Поликарпович возвышался передо мной, чуть закинув назад седую голову, бережно трогая согнутым костлявым пальцем усы, — невозмутимый, строгий, беспристрастный судья, — ждал ответа.

Я вынул из тетради одну из карточек-вопросников.

— Пока только такие меры.

Иван Поликарпович не спеша взял карточку, не спеша достал из кармана очки, не спеша оседлал свой нос, нахмурясь, стал вчитываться.

— М-да... Я не специалист по русской грамматике, но вопросы в этой карточке мне кажутся не совсем обычными.

— Если они будут обычные, трафаретные, то на них легко будет готовить и трафаретные ответы. Все спасение от зубрежки, что вопросы необычны. Ученики не должны заучивать готовые ответы из учебников, а искать их самостоятельно.

— Любопытно.— Иван Поликарпович вертел в руках карточку.— Ну, а если и такие карточки не окажутся надежным средством?

— Попробую найти что-то другое.

— Что?

— Не знаю.

— А не получится так, что вы примиритесь с зазубриванием?

— Не получится. Я тогда прекращу эти занятия и признаю во всеуслышанье свое поражение.

Учителя плотно обстутили нас. Тамара Константиновна протянула руку к карточке.

— Фокусы! И не только ненужные, но и небезопасные.— Она небрежно проглядела карточку и сунула ее стоявшему рядом с ней Акиндину Акиндиновичу.

Тот пугливо взглянул и передал дальше. Карточка пошла по рукам.

— Все-таки мне не совсем ясно, как вы думаете добиться успеха,— задумчиво, даже с ноткой какого-то соблазнования в голосе произнес Иван Поликарпович.

Учителя, тесно окружившие меня, глядели одни с от-

чужденным любопытством, другие, вроде Акиндина Акиндина Акиндина, с опаской. Но как у тех, так и у других я читал в глазах откровенное недоверие. И это недоверие, и соболезнование в голосе Ивана Поликарповича, и враждебность Тамары Константиновны заставили меня с какой-то болезненной остротой чувствовать значительность минуты. Если сейчас не сумею ответить, не смогу убедить в своей правоте, все от меня отвернутся. Работать среди подозрительной настороженности, искать, не рассчитывая на чье-либо дружеское участие, знать наперед, что и сегодня, и завтра, и послезавтра будешь одиноким. Нет! Это верное поражение, надо устоять сейчас, надо ответить! Искренне, не прикидываясь всемогущим. Только искренность может вызвать доверие.

И, глядя прямо в выцветшие стариковские глаза Ивана Поликарповича, я заговорил:

— Вы ждете от меня точных ответов, Иван Поликарпович? Я больше вас хотел бы их знать. Пока я твердо знаю только одно: те уроки, какие я проводил раньше, меня не устраивают! Хочется, чтоб мои уроки были увлекательными, хочется за те же сорок пять минут давать больше знаний. Мало того, хочется, чтоб мой урок не только давал знания, но и воспитывал учеников. Плохо, если кто-нибудь из класса не запомнит особенности языка «Песни про купца Калашникова», но с этим еще как-нибудь можно мириться. А вот если я не научу элементарной человеческой честности, самостоятельно думать, не привью чувства товарищества, то это уже преступление перед обществом. Я точно знаю, чего хочу. А как это сделать?.. Я ищу! Я надеюсь найти! Я пока в самом начале поисков! Мне многое неясно, наверняка будут ошибки. И все-таки я буду искать!..

Я говорил и видел перед собой только Ивана Поликарповича — дубленые, крупные морщины, чуть тронутые табачной желтизной седые усы, ясные, доверчивые глаза, глядящие поверх очков. Я говорил, а его лицо, казалось, продолжало оставаться бесстрастным; только взгляд с каждым моим словом становился мягче, теплей и в то же время неуловимо тревожней. И я уже чувствовал: он понимает меня, он верит мне чем дальше, тем сильней. Это подхлестывало меня.

— Многие из нас из рук вон плохо используют свои уроки. И почему-то это не слишком тревожит, зато желание искать сразу же вызывает недоверие. Фокусы?.. Не-нужные?.. Вредные?.. А не больше ли вреда сидеть сложа

руки? Я не се ми пядей во лбу, один не открою Америки. Не сегодня, так завтра мне понадобится помочь всех, кто работает со мной бок о бок. И самое страшное, если вы все отвернетесь или постараитесь подставить ножку при первых, наверняка беспомощных, шагах, какие я сейчас пытаюсь сделать.

Я замолчал, рукой вытер выступивший на лбу пот. Учителя, внимательные и молчаливые, стояли вокруг. Олег Владимирович, стиснутый с боков, поднял высоко на лоб свои густые брови, и его обычно спрятанные за бровями глаза были открыты — на удивление наивные, бесхитростно добрые, с уютной домашней рыжеватинкой.

— Безответственные фразы,— первая подала голос Тамара Константиновна, но в тоне, каким были произнесены эти слова, не чувствовалось уверенности.

Все зашевелились, под ногами заскрипели крашеные половицы.

Иван Поликарпович, закинув назад голову, продолжал разглядывать меня. Но вот пошевелился и он, чуточку смущенный, старающийся скрыть смущение за показной стажиковской торжественностью.

— Андрей Васильевич,— произнес он размеренно,— я слушал вас и... знаете, завидовал вам. Да, да, завидовал, что вам только тридцать три года, завидовал вашей дерзости. У вас есть чистые помыслы, есть впереди несколько десятилетий и, наконец, эта дерзинка. Вот вам моя рука.— Он протянул свою широкую, костлявую, со вздувшимися суставами руку.— И если что — рад буду вам всегда помочь.

7

Степан Артемович вызвал меня в конце дня.

Его кабинет ничем не изменился: та же карта на стене, усеянная красными кружочками, показывавшими, в каком месте страны живут и работают бывшие ученики нашей школы, те же фотографии молодых и славных ребят в военной форме и в штатских костюмах, так же, как всегда, за массивным столом, спиной к окну восседал маленький, крупноголовый, остроплечий Степан Артемович.

Сбоку от него, сложив на выступающем животе руки, сидела Тамара Константиновна. Она отворачивала от меня лицо, в ее облике уже не было прежней монументальности и подтянутости, она как-то огрузнела сейчас, раздалась

випирь, не вздергивала с независимой высокомерностью свой подбородок.

— Присаживайтесь, Андрей Васильевич,— без тени недовольства, буднично пригласил меня Степан Артемович.— Присаживайтесь и рассказывайте, что вы там замышляете?

— Пусть он объяснит, Степан Артемович, почему никого из нас не поставил в известность,— произнесла в сторону Тамара Константиновна.

Степан Артемович не повел и бровью, ждал, когда я начну говорить.

Я уселся на стул и принялся подробно излагать все, что в свое время рассказывал Тамаре Константиновне. Степан Артемович слушал со своим обычным бесстрастным и вежливым выражением.

Он умный человек, кроме того, он не лишен какого-то тщеславия. Он хочет, чтобы школа, возглавляемая им, была передовой, чтоб о ее успехах трубили по всей области. Так в чем же дело? Пусть поможет, пусть поддержит. Мы общими усилиями изменим преподавание, станем примером для всех школ области. Василий Тихопович ошибался, наговаривая на Степана Артемовича. Степану Артемовичу нет расчета быть нашим противником, он должен поддержать нас. Он же не Тамара Константиновна, которой действительно есть основания бояться за свою судьбу. Она, как завуч, не сможет ни помочь, ни подсказать. Но что значит Тамара Константиновна, если Степан Артемович станет на нашу сторону!

Степан Артемович, склонив на плечо голову, внимательно слушал, и его внимание подхлестывало мое красноречие.

— Одно замечание,— вежливо перебил он меня.— Поиски нового, как правило, начинаются тогда, когда не удовлетворяет старое. Без ломки старого появление нового невозможно. Так, если не ошибаюсь, гласит диалектика?

— Да, Степан Артемович, что-то ломать придется,— ответил я, в упор глядя в его холодные, не выраждающие ни сочувствия, ни упрека глаза.

— Прекрасно. Тогда вопрос: вы целиком уверены в успехе того дела, за которое взялись с такой энергией?

Ради того, чтобы выгодно показать себя, я должен кратко и твердо ответить сейчас Степану Артемовичу: «Да». Но имею ли я право отвечать так? Авиаконструктор не может полностью быть уверенным в летных качествах своего самолета до тех пор, пока этот самолет не поднимется в

воздух, пока его досконально не проверят летчики-испытатели. Микробиолог в самом начале своих опытов никогда не ответит точно, будет ли его вакцина способствовать выздоровлению. Моя работа только начата, я во всем сомневаюсь. Разве могу я ручаться, что впереди не откроются передо мной неожиданные пропасти и неприступные хребты и что не придется длительно искать окольных путей? Все, чем я могу похвастаться, есть скромное, не очень совершенное руководство к действию, но рецепта, гарантирующего полный успех, у меня не существует.

Степан Артемович смотрит на меня спокойно и холодно, ему дела нет до тех сомнений, которые переполняют меня. Он терпеливо ждет прямого и точного ответа. Он понимает, что даже солгать я не имею права. Солгу, скажу бодрое «да» — при первом же затруднении он спросит: «Где же успех? Вы обещали его».

И я ответил уклончиво:

— Много неясного. Мне одному все выяснить не под силу. Давайте выяснить, откройте дверь поискам, будем искать коллективом.

— Значит, вы в каких-то частностях не можете ручаться за правильность поисков? Не так ли?..

— В частностях? Конечно, не могу.

— А нужно ли говорить, что нередко неприметные на первый взгляд частности решают судьбу дела? Вспомним историю... — Степан Артемович когда-то преподавал историю и любил иногда прибегать к историческим сравнениям. — Многие считают, что Наполеон, возможно, выиграл бы решающее сражение под Ватерлоо, если бы некий генерал Груши не заблудился со своими отрядами и сумел вовремя подойти с подкреплениями. Вот что значит частность! А вы мне сейчас говорите, что не можете ручаться за частности. Могу ли после этого я доверять вам, могу ли вместе с вами рисковать школой?

— Но если бояться частных ошибок, то остается только топтаться на месте. Тем более что ваш опыт, Степан Артемович, ваш трезвый расчет поможет заранее подсказать сомнительные частности, — не без умысла пользовался я.

— Дорогой Андрей Васильевич, мой трезвый расчет подсказывает, что главная наша задача, ради которой государство содержит нас, — это учить детей. А вы мне вместо полезной деятельности предлагаете экспериментировать. Я не исследователь, а директор нормальной школы, эксперименты в моем положении просто опасны, они мо-

гут отвлечь, запутать, разрушить дело, которое я налаживал много лет.

Мои надежды сговориться, найти общий язык со Степаном Артемовичем окончательно улетучились. Напротив меня за массивным столом в окружении портретов, пожелавших документов, обширной карты Советского Союза, прославляющих деятельность школы, сидел человек с железным характером. Он доволен собой, доволен делом своих рук, и его дело признано, а какой-то рядовой, никому не известный учитель пытается поправлять все то, что создано его многолетним трудом. Нет, Степан Артемович ни за что не пойдет на уступки. Я понял это и почувствовал себя свободнее: что ж, война так война!

— Степан Артемович,— заговорил я с вызовом,— вы боитесь экспериментов, вас пугают частности, а почему вас не пугают такие наболевшие вопросы, как, например, недопустимая перегрузка наших учеников занятиями? Вы же знаете, сколько средний ученик отдает времени учебе, вы знаете, что его рабочий день равен десяти — одиннадцати часам!..

— Молодой человек! — властно перебил меня директор.— Я все знаю, нет необходимости открывать мне глаза на недостатки, я немного поосведомленней вас. Переображен? Да, перегружен! Я это открыто признаю. У нас два выхода: или освободить от перегрузки учеников и не дать им прочных знаний, или дать эти знания и перегрузить. Я придерживаюсь последнего. Я перегружаю учеников и учителей и не терзаюсь совестью. Так надо!

— А я считаю: можно и нужно найти третий выход.

— Вы будете считать по-своему, когда сядете на мое место и не головой какого-нибудь Степана Артемовича или Тамары Константиновны, а своей собственной будете отвечать за успехи школы.

— А до тех пор я обязан вам слепо повиноваться?

— Степан Артемович! — возмущенно и жалобно восхликала Тамара Константиновна.— Каким тоном он позволяет себе разговаривать с вами!

Степан Артемович не обратил внимания на ее восхликание. Он перегнулся ко мне через стол и жестко отрезал:

— Да, повиноваться! Этого требует элементарная рабочая дисциплина.

— Слепо?

— Зависит от индивидуальности. Не можете иначе, по-

винуйтесь слепо. Все-таки это менее опасно для дела, чем замешивание утопических заквасок в коллективе.

— Ну, а если я все же буду отстаивать свои взгляды?

— Если так...— Степан Артемович сделал сухопытной рукой широкий жест над столом.— Отстаивайте, но потом пеняйте на себя. Вы же знаете, я шутить не люблю.

— Вот так же меня страшала и Тамара Константиновна.

— О нет, я не страшую, я предупреждаю.

— Что я могу оказаться за стенами школы. Не так ли?

— Если будете настойчиво мешать, ничего другого мне не останется сделать.

— Я удивлялся Тамаре Константиновне, удивляюсь теперь и вам, Степан Артемович. Вы как-то уж слишком быстро решаетесь на крайние меры, практически не ознакомившись с тем, что я делаю.

— Вы ошибаетесь, Тамара Константиновна ознакомилась сегодня с вашим уроком и подробнейшим образом доложила мне. Почему вы считаете, что я не должен доверять своему завучу?

— Степан Артемович,— я поднялся со стула,— вы влиятельный человек, вы сильней меня, верю — можете сломать, выкинуть из школы, какими-нибудь другими способами призвать к повиновению. Но по мере моих сил я буду сопротивляться. Что мне сказать еще? Прощайте.

— Я вас еще не отпустил. Рано прощаетесь... Слушайте мое последнее слово, Андрей Васильевич. Я надеялся уладить недоразумение. К несчастью, не уладил. Мне придется вынести вопрос на обсуждение коллектива. Пусть сами педагоги беспристрастно обсудят, кто из нас прав и кто виноват. И чтоб вы или кто другой не посчитали, что я бесконтрольно пользуюсь своей властью, силой авторитета заставляю учителей склоняться на свою сторону, на педсовете при обсуждении вашего вопроса будет присутствовать представитель рено. Я попрошу, чтобы пришла сама Коковина. В ее ведении не одна наша, а все школы района, думаю, что можно рассчитывать на ее полную беспристрастность. Теперь все. Можете идти.

Я вышел из кабинета, провожаемый уничтожающим взглядом Тамары Константиновны.

За все время моей работы в школе я не припомню, чтобы кто-либо осмеливался противиться Степану Артемовичу. А тут вопрос стал: кто — кого. Конечно же, скорей всего он меня. Ну, мы так просто руки не опустим. Но кто

мы? Я да Василий Тихонович. Нельзя же всерьез рассчитывать на Ивана Поликарповича, на Олега Владимира или на этого Жору Локоткова. Они знают мою работу только по одному сегодняшнему уроку, каждый из них привык прислушиваться к мнению Степана Артемовича. На педсовете будет присутствовать заведующая роно Коковина. Может, она встанет на мою сторону? Ой, пет, мне уже известно, что это за человек. Она будет на стороне того, чей голос громче. А мой голос — мышиный писк по сравнению с авторитетным голосом Степана Артемовича. Положение не из завидных.

Впрочем, поживем — увидим! Будем ждать педсовета.

8

К черту все! Я устал от недосыпаний, отравил себя папиросами, устал от постоянного напряжения: получится или нет, удастся урок или не удастся? А впереди еще стычки со Степаном Артемовичем, обсуждение на педсовете. Устал! Надо встряхнуться.

Утром в воскресенье я снял со стены пыльное ружье.

Ружье у меня было самое обыкновенное — берданка шестнадцатого калибра, купленная в магазине сельпо четыре года назад. Моей гордостью были лыжи. Не узкие, не тонкие, не легкие на ходу, не из тех, что всей своей стремительной формой приспособлены для игривого бега по накатанной лыжне, лыжи ради развлечения, ради приятного отдыха. Мои лыжи были широки, тяжелы, неуклюжи на вид, у них непривлекательно рабочий вид, на них не помчишься птицей, наслаждаясь визгом плотного снега. Зато мои лыжи хорошо держат на самом хрупком насте, ими легко пробивать путь в наметанных сугробах, они не запутываются в кустах, а давят их, вминая в снег, наконец, на них очень легко взбираться на горы, так как в конце каждой лыжи врезана шкурка. Она снята с ноги лося повыше косматых бабок, где щетинистая крепкая шерсть стекает в одну сторону. Лыжи эти я купил у старика Фаддея Рюхина из деревни Петрово Осичье. Когда-то Фаддей был одним из лучших медвежатников в округе, теперь дряхл, чинит в колхозе сани, бондарничает, но при нужде может сделать и лыжи, такие вот топорные, не особо легкие на ходу, лыжи настоящего лесовика.

Сколько они мне доставили наслаждения! Сколько измаял я ими снежной нетронутой целины, сколько рубашек

и свитеров промочил я на них своим потом, сколько раз я, сминая кусты, слетал по крутым склонам на дно дремучего, отгороженного от всего мира сугробами оврага! Слухалось головой, плечами, всем телом зарываться в мягкий и жгучий снег, а потом, проваливаясь по пояс, искать убежавшие в сторону лыжи.

Лес, засыпанный снегом, красив, но чем-то и страшен. Ветер обычно бьет только опушку, только с крайних деревьев он сметает снег. Они стоят перед полями темные, голые, начисто обмытые метелями. В глубину же леса ветер не проникает, и там день за днем, ночь за ночью нарастает снег. Только часть его достигает земли, добрая половина остается висеть в воздухе на ветвях. Ели больше других деревьев заметены: многие так укутаны в снежные шубы, что только кончики ветвей, словно черные пальцы, кое-где прорывают тяжелое пушистое покрывало. Ели спокойно выносят снежную тяжесть. Для березок же, особенно молодых, гибких, у которых нет матерой закваски, снег — наказание. Они летом тянутся к солнцу, стараются пробиваться вверх из еловой сумрачной тени — и пробиваются. Но вот приходит зима, пушинка за пушинкой, невесомый кристаллик за кристалликом падает на них снег, застrevает в ветвях, растет груз, гнется под ним березка ниже и ниже в упругую дугу, пока не упрется макушкой в ноги какой-нибудь беспечно стоящей ели, тепло укутannой тем же снегом.

Возьмешь такую березку за вершину, тряхнешь ее, как кошку за хвост, — рухнет беззвучно снег, обдаст слепящей пылью, вырвет из рук свою вершину березка, со вздохом распрямится, но не совсем. Так и останется она наполовину сгорбленная. Раз уже поддалась, раз уже оказалась согнутой — жить ей и дальше смиренной калекой всю жизнь. В следующую зиму еще больше согнет ее снег, еще ниже придавит к земле — не тянуться вверх, не воевать за солнце.

Красив лес в снегу! Жалкий кустик, в своем обычном виде похожий на растрепанный веник, напоминает теперь с силой вырвавшийся из-под запорошенной земли взрыв, казалось бы с незапамятных времен и навечно застывший в своем отчаянном взлете. Куча полусгнившего хвороста, загромоздившая крошечную полянку, похожа на перепутанное кружево, сплетенное рукою великана. Пень выглядывает из-под тучной чалмы. Еловые лапы — если приглядеться, каждая имеет свою физиономию — прямо в глаза строят немые снежные рожи. Все необычно, с рос-

кошью до безрассудства, с излишеством через край, со щедростью до исступления. Где-то высоко вверху шумит ветер, а здесь, в лесу, не дрогнет ни одна веточка, не шелохнутся в своих объемистых сугревых рукавицах еловые лапы. Ни движения, ни звука, все кругом нетронуто, все мертвое — исчезла жизнь, вместо нее холодная декорация.

И минутами тебе, живому, способному двигаться, глядеть, чувствовать красоту, ощущать холод осыпавшегося за воротник снега, становится не по себе. Невольно охватывает пронзительное чувство одиночества. Порой наваливаются щекочущие сомнения: а не перевернулось ли время, не попал ли ты из двадцатого шумного века куда-то в неразгаданно далекий век, где еще не появилось ни единого живого существа, тело которого заполнено горячей кровью, где стоят только не умеющие ни думать, ни чувствовать окаменелые деревья, родичи мертвых скал? Где города с людскими толпами, бешеными потоками автомашин? Где села с чадным запахом дыма из труб? Где книги с высокими мыслями, газеты, кинематографы, самолеты? Где взвинчивающие нервы разговоры об атомных и водородных бомбах? Где школа, распри со Степаном Артемовичем, неразгаданные проблемы, вечера за письменным столом в клубах табачного дыма? Нет этого, не верится в их существование. Все, что осталось за спиной, несовместимо с этой устрашающей красивой первобытностью.

Красив лес в снегу!..

Я не убил ни одного зайца, только раз потревожил тетерева. Перед самыми моими лыжами раздался взрыв, лицо обдало колючей снежной пылью, и сквозь снежную чащу с шумом крупного артиллерийского снаряда полетела тяжелая птица. А ружье у меня было перекинуто за спину, его нужно снимать через голову. Я даже не попытался этого сделать.

9

Презирая санные дороги, торные тропинки и укатанные лыжни, я уже в сумерках выбрался на задворки МТС. В стороне маячили темные цистерны с горючим, впереди горели редкие огоньки мастерских.

Я попал в самое глухое место усадьбы, не посещаемое ни трактористами, ни жителями маленького эмтээсовского поселка.

Более двадцати пяти лет тому назад была организова-

на эта МТС. За четверть века через нее прошло немало машин: тракторов, комбайнов, сортировок, косилок. Машины старели, на смену им приходили новые, тоже старели, израбатывались, списывались, отвозились подальше от парка, в этот угол. Отсюда, наверное, не раз увозили металлом — ржавые массивные колеса, рамы, износившиеся моторы, погнутую, искалеченную арматуру. Но немало осталось здесь еще рухляди. На полусгнивших остовах комбайнов лежал толстым слоем снег, из сугробов то тут, то там высовывались лопасти хедеров, на железных ржавых сиденьях косилок, как в лесу на пнях, покоились нетронутые снежные шапки. Здесь остатки битвы, продолжавшейся двадцать пять лет на полях ближайших колхозов, здесь погост железных тружеников, почтенная и бесславная свалка.

Спотыкаясь, проваливаясь, царапая лыжи, я прошел мимо всего этого, пронося чувство некоторой подавленности, какое испытываешь обычно на любом кладбище.

Из дверей приземистой, похожей на рабочий барак мастерской вылетал на измятый снег ослепительно голубой, первый свет сварки. В этом слепящем, то вспыхивающем, то гаснущем свете в распахнутых дверях стоял, расставив ноги, долговязый человек. Я узнал его.

— Василий Тихонович! — окликнул я его.— Ты чего здесь?

Он оглянулся, шагнул ко мне. При вспышках сварки резкие тени плясали на его сухом горбоносом лице, пытались сорваться и не могли,— казалось, какая-то птица машет крыльями перед его глазами.

— Это ты?.. С охоты? Кого убил?

— Время убил,— ответил я обычной шуткой всех нездачливых охотников.

— Время... Я тоже вот убиваю время. Безделку делаю. Ребята, кончайте без меня. Они мне деталь варят...

— Что за безделка? Какая деталь?

— Да вот ударила дурь в голову, приспособление для дверей сделать. Мальчишество!.. С фотоэлементом. Чтобы подошел к двери, а она перед тобой сама распахивалась. Сейчас стою и думаю: «Зачем мне все это?» — И неожиданно он приказал: — Сними-ка лыжи, сходим в одно место.

— Куда? Я, брат, с ног валюсь.

— Не бойся, недалеко здесь, за углом. Пока тут околачивался, пришла мне идеяка...

Мне пришлось снять лыжи и отправиться за Василием

Тихоновичем. Он завернул за угол мастерской, стал прокладывать путь по колено в снегу.

— Вот видишь машину? — указал мне Василий Тихонович, останавливаясь.

— Какая же это машина? Такой рухляди там, — кивнул головой в сторону, откуда пришел, — обозами не вывезешь.

Утонув в сугробе, темпел в сумерках трактор — на капоте до половины кабины снег, снег на крыше кабины, в самой кабине.

— Не экспонат для выставки показываю. Но я уже ощупал — оживить можно.

— Зачем? Вместо экипажа, чтоб в школу из дома по утрам ездить?

Василий Тихонович ответил не сразу, стоял перед заметенным снегом трактором по колено в снегу, задумчиво его разглядывал.

— Хочу, чтоб у ребят было интересное занятие.

— Этот покойник?

— А почему бы и нет для начала?

— Что значит — для начала?

— Для начала того, о чем мы с тобой говорили.

— Труда?..

— Именно. Вот трактор — он отжил свой век, его паднях списали. Через месяц или два свезут как хлам. Почему бы его не прибрать к рукам? Соберем группу учеников и скажем: хотите научиться управлять трактором, хотите иметь свою собственную машину — засучивайте рукава, добивайтесь у МТС помощи, учитесь организации. Все, о чем мы с тобой толковали, в миниатюре будет присутствовать здесь. С этой изъезженной эмтэсовской клячей хватит возни по горло. Тем лучше. Она заставит ребят сообща ломать голову, коллективно действовать.

Мне стало обидно за Василия Тихоновича. Мы мечтали о труде, который бы приносил доход, о хозяйстве, которое бы росло, тень Макаренко, казалось, вырастает за нашими спинами, а тут какой-то кружок юных трактористов, копание в железном ломе, который не успели выбросить на свалку. Что-то быстро мельчают у Василия Тихоновича замыслы.

— Не нравится. Я себя чувствую так, словно собирался на медвежью охоту, и вдруг вместо этого предлагаю ловить блох. Мол, не все ли равно, за чем охотиться, лишь бы охотиться.

— Если ты такой любитель бить крупного зверя с хо-

ду, то выйди завтра, объяви всем учителям: «Ломай ста-
рое! Да здравствуют новые способы обучения!»

— Ну, знаешь...

— То-то и оно! Сам-то делаешь опыты, тщательно вы-
веряешь, высчитываешь, не бросаешься сломя голову на
авось, а передо мной корчишь кислую мину — ловля блох!
Прежде чем строить машину, надо сделать модель. Эта
возня с трактором и будет для нас такой моделью. Мы
не знаем, на что способны наши ученики. Могут ли они
увлекаться? Могут ли ради этого увлечения переносить
ковыряния в грязном моторе, неудачи в организации?
Даже если этот трактор не удастся поставить на колеса,
мы все-таки кое-что сумеем для себя открыть. И то
польза.

— А кто будет заниматься этим с ребятами?

— Я. Ты действуй в своем направлении.

— А Степан Артемович? Его тоже надо принимать в
расчет, как еще посмотрит.

— Если ему мало войны с тобой, пусть воюет на два
фронта. Я придерживаюсь такого правила: чем труднее
ему, тем нам легче.

Серые сугробы снега через несколько шагов от меня
сливались с черным небом. Отсюда не было видно ни од-
ного огонька — сплошная мрачная тьма, бездонная, заса-
сывающая взгляд. Наверно, таким себе и представляли
первозданный хаос люди, творившие библейские леген-
ды,— ни света, ни времени, ни пространства, все переме-
шано. Среди пепельных сугробов маячила длинная, не-
сколько нескладная фигура моего товарища, да в тиши
не звучал его упрямый, с жесткими интонациями голос.
Мне пришлоось начинать с урока, где я применил извест-
ный всем эвристический прием. Восстановить разбитый
трактор тоже не новое дело, но, может, отсюда и станет
трещать сколоченный Степаном Артемовичем порядок.

Пусть будет трактор, начнем с малого.

— Ну, пойдем. Нам тут больше торчать нужды нет,—
произнес Василий Тихонович.

Мы выбрались из сугроба, вернулись к мастерской,
двери которой были уже закрыты. Я подобрал свои лыжи,
взвалил на плечо.

— А все-таки ты веришь, что эту развалину можно
поставить на колеса?

— Можно. Ходовая часть вроде в порядке. Мотор ну-
жен новый.

— Где ты достанешь новый мотор?

— Я ничего не буду доставать. Пусть ребята сами бегут за горло директора МТС, главного инженера. Выпрашивать, брать за горло — тоже труд, пусть и этому учатся.

С этими разговорами мы подошли к конторе МТС. Несмотря на воскресный день, там, видно, проходило какое-то собрание. На крыльце высыпал народ: попыхивали папиросами, перекидывались прощальными словами, запахивая на ходу пальто, повизгивая валенками, расходились.

Впереди нас мелкими четкими шажками шла женщина, прятавшая лицо в воротник шубы. По напористой, с резкими толчками походке я узнал Валентину Павловну.

Василий Тихонович двигался лениво, обстоятельно мне доказывал, что надо поторопливаться, пока трактористы не растащили по частям этот списанный трактор, а Валентина Павловна шла быстро. Сразу же за конторой МТС начиналось большое поле, летом обычно засаженное картошкой эмтэсовских работников. Сейчас, заметая дорогу, по нему стлался ветер. Если я не окликну Валентину Павловну, то через минуту-другую она скроется в темноте, исчезнет за легкой поземкой.

И я окликнул:

— Валентина Павловна!

Она остановилась, обернулась, стараясь сквозь стущившуюся темноту взглядеться — кто зовет? Узнала, то ропливыми шажками двинулась навстречу.

— Андрей Васильевич!

Придерживая воротник варежкой, стараясь закрыть щеку от ветра, она глядела на меня снизу вверх, и глаза ее возбужденно и как-то растерянно блестели в темноте.

— Что за вид! И ружье и лыжи! Здравствуйте, целую вечность вас не видела. Как вы сюда попали?

— Я с охоты... А вот... Вы, кажется, знакомы?

Василий Тихонович протянул руку:

— Горбылев. Встречались.

— Да, да, встречались... В МТС, совещание было. На них теперь со всех сторон жмут с ремонтом, по воскресеньям заседают. Из областного управления приехали к ним... Вы домой? Так идемте вместе. Что за ветер! На сквозь продувает...

Она была со мной перво разговорчива, и по ее словоохотливости, как и по возбужденно блестевшим глазам, я понял: она рада этой неожиданной встрече. Стало горячо и тревожно в груди, сразу же исчезла усталость.

Валентина Павловна спросила, что у меня нового.
Я ответил:

— Очень много. Василий Тихонович,— обратился я к нему, молчаливо вышагивающему рядом,— я тебе не говорил, а ведь это Валентина Павловна достала рукопись Ткаченко. Она, можно сказать, крестная нашего дела...

И чтобы как-то приглушить неловкость первых минут встречи при отчужденно молчавшем Василии Тихоновиче, я заговорил о школе, о своем недавнем разговоре со Степаном Артемовичем, о том, что предлагал Василий Тихонович. Сказал и пожалел: Валентина Павловна сразу же набросилась на Василия Тихоновича:

— Копать картошку, пахать землю, выращивать свиней! Такую уж пользу принесет это, как вы рассчитываете?

— Копать картошку, выращивать свиней — именно! — с холодной вежливостью отвечал Василий Тихонович.— Именно пользу, а не вред.

— Что ж, теперь это модная точка зрения. Труд, мозоли на руках с самого детства. Но не получится ли так, что у ребенка этим отнимут его детство? Труд слишком значительная и серьезная вещь, чтобы к нему можно было относиться легкомысленно.

— Как вы понимаете детство? Зубрежка учебников да невинные развлечения вроде сломя голову гонять лапту или без цели торчать в подворотнях, перемывая косточки старшим?

— Сделайте так, чтобы эти развлечения были полезны, обогащали детей: устраивайте походы, заставляйте строить модели, знакомьте с природой. Когда человек еще может почувствовать красоту жизни, как не в детстве! После того как он вырастет, ему волей-неволей придется познакомиться и с картошкой, и с подойниками, и с бухгалтерскими книгами — со всем тем, что называется прозой жизни.

— А если эту прозу мы сумеем опоэтизировать?

— Труд есть труд, выгребание навоза из скотного двора ни больше ни меньше как грязная работа. Опоэтизировать это?.. Бросьте убаюкивать себя красивыми словами. Научить лепить торфоперегнойные горшочки или сажать картошку легче, чем привить культуру, широту взглядов, любовь к природе.

— Я тоже хочу, чтоб мой ученик обладал широтой взглядов, культурой и всем прочим, что обычно высказывается в общих, звонких, внешне благородных фразах. Хочу, поверьте, не меньше вас. Но между мной и вами, Валентина Павловна, есть существенная разница. Вам не приходится задумываться над тем, как это сделать. Я же постоянно только об этом и думаю: как, какими приемами?

— И вы считаете, что таким приемом может быть копка картошки?

— Я в этом уверен.

— Тогда заранее могу сказать, что вы будете выпускать в жизнь духовно ограниченных людей. Вы хотите, чтоб человек с ранних лет рос в атмосфере практицизма. Может, вы считаете, что для машинного века нужны не живые люди, а просто дополнения к машинам? Тогда я пасую, тогда возражений с моей стороны нет!

Мы вошли в село. Василий Тихонович жил на этом конце. Он остановился, и я услышал в его голосе то знакомое, холодное, горбылевское раздражение, какое обычно прорывалось в нем, когда он говорил о Степане Артемовиче или о тупой ограниченности какого-нибудь учителя.

— Валентина Павловна! — покачиваясь с носков на пятки, глубоко засунув руки в карманы, произнес он, отчеканивая каждый слог.— Простите за откровенность, но трудно спорить с несведущим человеком.

— Вы хотите сказать, невежественным,— храбро правила Валентина Павловна.

Я же невольно поморщился, предчувствуя скорую.

— Вот именно,— хладнокровно подтвердил Василий Тихонович.— Астроном не докажет верующей старухе, что среди небесных тел нет места для господа бога. Я тоже бессилен раскрыть перед вами, что копка картошки или что-то в этом духе при определенных обстоятельствах не отнимет у детей детства, а обогатит его. Считайте, что спасовал перед вами. Ваш добрый знакомый Андрей Васильевич понял меня, согласился со мной. Буду рад, если он вам сумеет объяснить на досуге. До свидания. Мне сюда.

Он кивнул головой Валентине Павловне, повернулся ко мне.

— Мы с тобой завтра обсудим поподробнее то дело, о котором говорили. Всего!

Размашистым шагом он двинулся прочь.

— Похоже, что я получила пощечину,— произнесла Валентина Павловна.— А вы на его стороне?

— Да, на его.

— Что ж, вы, помнится, когда-то были даже на стороне Степана Артемовича.

— Был. Теперь, как Белинский, могу сказать: «Клянусь вашему философскому колпаку и иду дальше».

— Буду надеяться, что вы не остановитесь и на Горбылеве, тоже раскланяйтесь с ним в свое время.

— Валентина Павловна, вы спорили, руководствуясь только своим наитием. Почему ваше наитие должно быть ближе к истине, чем убеждения Василия Тихоновича?

— Знаете что, не будем совсем спорить! — Легкая рука Валентины Павловны просунулась под мою руку, с приблизившегося лица, на котором темнота сгладила черты, по-прежнему возбужденно и доверчиво блестели глаза.— Андрей Васильевич! Я давно ждала этой встречи с вами, не хочу отравлять ее спором. Хорошо, я признаю, что не права, я даже ради вас была бы готова принести свои извинения этому фанатику модной идеи, если б он не сбежал. Идемте к нам...

— Как?.. С ружьем, с лыжами?..

— Разве ружье и лыжи помешают?

— Ладно, идемте, но только одно условие...

— Не спорить! Согласна. Я уже вам сказала...

— Нет, покормить меня. Я не ел с утра и сейчас готов съесть живьем волка.

— О, и на это условие согласна,— рассмеялась Валентина Павловна.— Идемте...

Придерживая одной рукой лыжи на плече, другой стараясь не отпустить невесомо легкую руку Валентины Павловны, я покорно зашагал рядом с ней.

Спор, так неожиданно случившийся на моих глазах, открыл мне, что эта женщина, которая идет сейчас бок о бок со мной, очень далека от того, чем я живу. Случайно она помогла мне иначе взглянуть на Степана Артемовича, случайно передала мне в руки рукопись Ткаченко. Я понимаю Василия Тихоновича. Легкомысленны и наивны возражения Валентины Павловны. Если б их произнес другой человек, я бы к нему проникся снисходительным презрением. Но ее не могу осудить. Я рад, что ее встретил, рад, что иду с ней рядом, что буду разговаривать, видеть ее. Ощущаю сейчас на своей руке ее руку. Легкая, воздушная рука, но ее нести труднее, чем тяжелые лыжи, локоть просто немеет от напряжения.